

Иван ЗАБЕЛИН

НЕВЗДОМЯЯ
РУСЬ

ИЖА РУСИ



Неведомая Русь

Иван Забелин

Имя Руси

«ВЕЧЕ»

1876

Забелин И. Е.

Имя Руси / И. Е. Забелин — «ВЕЧЕ», 1876 — (Неведомая Русь)

ISBN 978-5-4444-8462-3

Иван Егорович Забелин (1820–1909) – историк-идеалист и археолог с уникальным взглядом на славянскую, и в частности русскую историю. Его классический труд «История русской жизни с древнейших времен» впервые был издан в 1876 и 1879 годах в двух томах. В наше издание включена первая часть первого тома труда Забелина. В ней освещаются вопросы становления Русского государства в эпоху Великого переселения народов. Опираясь на данные лингвистики и топонимики, автор полемизирует с популярной и поныне норманнской теорией, предполагая, что родина призванных на Русь варягов – не Скандинавия, а загадочный остров Рюген, колыбель балтийского славянства.

ISBN 978-5-4444-8462-3

© Забелин И. Е., 1876

© ВЕЧЕ, 1876

Содержание

Предисловие автора[1]	6
Глава I. Природа Русской страны	10
Глава II. Откуда идет Русское имя?	29
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Иван Егорович Забелин

Имя Руси

© Оформление. ООО «Издательство „Вече“», 2015

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2015

Предисловие автора¹

Настоящая книга составляет вводную часть к труду, который, как дальнейшее развитие изысканий автора по истории русского домашнего быта вообще², был предпринят благодаря живому участию в этом деле покойного Василия Андреевича Дашкова, предложившего этот труд автору еще в 1871 году с необходимыми материальными средствами для выполнения работы и для ее издания.

Заглавие книги вполне обозначает цели и задачи настоящего труда. Но выполнение этих задач, конечно, требует не тех сил, какими обладает автор. Его работа, во всяком случае, будет только попыткой уяснить себе эти самые цели и задачи, ибо легко ставить вопрос и вовсе не легко самим исследованием определить пространство и качество разработки этого вопроса. Понятие о жизни чрезвычайно обширно и чрезвычайно неопределенно, поэтому немалый труд для исследователя заключается уже в одном только раскрытии основных положений, способных пролить какой-либо свет на необозримый материал, оставленный прожитой жизнью.

Жизнь народа в своем постепенном развитии всегда и неизменно руководствуется идеями, которые дают народному телу известный образ и известное устройство. Историки стремятся найти такие идеи в общей жизни народа, в его политическом или государственном и общественном устройстве. Но мелочный повседневный частный быт точно так же всегда складывается в известные круги, имеющие свои средоточия, которые иначе можно также именовать идеями. Если подобные мелкие круги народного быта не могут составлять предмета истории в собственном смысле, то для истории народной жизни они суть прямое и необходимое ее содержание. Раскрыть эти частные мелкие жизненные идеи – вот, по нашему мнению, прямая задача для исследователя народной жизни. Но само собой разумеется, что попытаться до этих идей возможно только посредством разнородных и разнообразных свидетельств самой же исчезнувшей жизни. Здесь и представляется беспредельное и необозримое поле для изысканий, на котором вдобавок не все то возделано, чего требует именно история жизни.

Вместе с тем изыскателя русской бытовой древности на первых же порах изумляет то обстоятельство, что русский человек относительно своей культуры или исторической и бытовой выработки и в ученых исследованиях, и в сознании образованного общества представляется, в сущности, пустым местом, чистым листом бумаги, на котором по воле исторических, географических, этнографических и других обстоятельств всякие народности вписывали свои порядки и уставы, обычаи и нравы, ремесла и искусства, даже народные эпические песни и т. д., то есть всякие народности, как бы не было незначительно их собственное развитие, являлись, однако, образователями и возделывателями всего того, чем живет русское племя до сих пор. Так все это представляется простому читателю, приходящему в пантеон нашей исследовательности, так сказать, со свежего воздуха, от простого здравого смысла.

В самом деле, до сих пор достоверно и без боязни никто не может сказать, находится ли что в русском быту собственно русское, самостоятельное и самобытное. В рассуждениях и исследованиях о том, откуда что взялось в русской старине и древности, оказыва-

¹ В книге отчасти сохранены пунктуация, орфография и оформление библиографических сносок первого издания труда И. Забелина

² *Забелин И.Е.* Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – 3-е изд. – М., 1895; Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – 3-е изд. – М., 1901. (Сохранено авторское оформление библиографических сносок. – *Примеч. ред.*)

ется, что русский своего ничего не имеет: все у него чужое, заимствованное у финнов, норманнов, татар, немцев, французов и т. д. Русская страна для русского, как свидетельствует история, – чужая страна. Он откуда-то пришел в нее сравнительно в очень позднее время, чуть не накануне призвания варягов, ибо до прихода Рюрика нигде не видать, даже и в курганах, никакого следа русской древности. Да и в Рюриков век виднеются все одни норманнские, или финские, или другие какие следы, но отнюдь не русские, в смысле русского славянства. А между тем, благодаря даже Всемирной выставке в Париже, на которой боязливо было представлено на общий европейский суд так называемое русское древнее искусство (орнамент), рассудительные и знающие европейцы с особенным вниманием и любопытством отнеслись к своеобразию и самобытности этого искусства и засвидетельствовали, что до сих пор ничего подобного они не примечали нигде. С того времени мало-помалу в Европе стала расти мысль, что в ряду самобытной выработки искусства у разных народов есть, существуют признаки и самобытного русского искусства. Очень может случиться, что об этом впервые со всеми подробностями и со всеми доказательствами мы узнаем от французов или немцев, ибо собственными исследованиями до такой непредубежденной истины дойти нам очень трудно. Наш ученый исторический и археологический кругозор стеснен до крайности. Дальше варягов в образе норманнов и кроме таких варягов мы ничего не можем рассмотреть. Между тем варяги-норманны, сколько бы их ни изучали, в сущности, объясняют весьма немногое и в нашей истории, и в нашей археологии. В этом очень скоро и легко убеждается каждый изыскатель, доходящий в своих изысканиях до этого *знаменитого тупика нашей исследовательности*.

Вот непосредственная и первая причина такого множества мнений о происхождении Руси. Естественно, что та же причина заставила и автора настоящей книги отдать этому вопросу не последнее место. Быть может, увлекшись, он погрешил по этому поводу на многих страницах своей книги. Но этому варяжскому вопросу он придает большое культурное значение как первому участнику в постройке на известный лад не только ученого, но и общественного воззрения на русскую древность и даже на русскую народность вообще.

Этот варяжский вопрос, стороной своего норманнского решения, яснее и достовернее всего свидетельствует, что русский человек в своей истории и культуре в действительности есть *пустое место*. Одно такое решение заставляет снова пересмотреть все то, на чем утверждается эта истина, ибо как-то не верится, чтобы здесь именно находилась вся правда нашей русской исторической жизни³. Вот почему вслед за объяснением, «откуда идет русское имя», автор должен был представить, соответственно своим силам, короткий очерк «Истории Русской страны с самых древних времен». Такое именно введение в историю русской жизни он посчитал решительно необходимым и неизбежным, руководствуясь той простой истиной, что корни всякой исторической жизни всегда скрываются очень глубоко в отдаленных веках.

Вступив в эту древнейшую область с целью уяснить себе только русскую доисторическую старину, автор, конечно, не успел, да и не мог воспользоваться многим, что даже прямо относилось к его задачам. Он может только желать, чтобы на этот предмет обратил надлежащее внимание исследователь, более сильный познаниями в этой области и более знакомый с источниками. История Русской страны до варягов – в настоящую минуту необходимейшая книга, если обратить должное внимание на те требования, какие день за днем ставят науки антропологические.

«Если Россия не займется изучением своей древнейшей старины, то она не исполнит своей задачи, как образованного государства. Дело это уже перестало быть народным: оно

³ Приступив к печатанию своего труда еще в октябре 1875 г., автор относился теперь уже к покойному М.П. Погодину по необходимости спорно и с надеждой выслушать от него о варягах решительное слово, тем более что окончательные мнения уважаемого ученого склонялись отчасти в ту же сторону, где и автор этой книги предполагает найти истину.

делается общечеловеческим». Эти золотые слова сказаны уважаемыми нашими академиками Бэрмом и Шифнером еще в 1861 году⁴ по тому поводу, что «у нас, – как они заметили, – со времен Карамзина ревностно занимаются той частью отечественной истории, которая основывается на письменных памятниках (и которая, необходимо прибавить, идет только от варягов); но колыбель нашей народной жизни, все то, что предшествовало письменности, именно курганные древности, оставляют в сыром виде без надлежащей разработки».

Действительно, рассыпанные по нашей земле курганные древности скрывают в себе истинную, настоящую *колыбель нашей народной жизни*. Но они так разнообразны и разнообразны и относятся к стольким векам и племенам, что сколько-нибудь рассудительная обработка их не может и начаться до тех пор, пока не будут собраны и сведены в одно целое именно письменные свидетельства об этих же самых курганах, то есть о той глубокой древности, когда эти курганы еще только сооружались. Каким образом мы станем объяснять курганные древности, когда вовсе не знаем или знаем очень поверхностно и неверно письменную историю нашей колыбели? Естественное дело, что прежде всего необходимо выслушать все рассказы, какие оставили нам о нашей колыбели античные греки и писатели римского и византийского веков. Это откроет нам глаза, способные с большим вниманием видеть и ценить немые памятники нашей колыбели, это же откроет новые двери и к разъяснению не только древнейшей нашей истории, но и многих поздних ее явлений и обстоятельств.

По общему плану своего труда автор не имеет ни сил, ни возможности входить в особые ученые исследования по всем тем вопросам, какие могут возникать и нарождаться из самого заглавия его книги. Он предполагает ограничиваться только наиболее существенными сторонами русской жизни, дабы по возможности провести свое обозрение русской истории до ближайших к нам времен. Он достигнет своей цели, если, хотя и в коротких очерках, успеет обозначить главнейшие корни и истоки русского развития, политического, общественного и домашнего, в его существенных формах и направлениях, с раскрытием его умственных и нравственных стремлений и бытовых порядков.

Так предполагал автор, но другие столь же и еще более неотложные занятия увлекли его на иной путь разысканий и исследований.

С того времени, как вышло в свет первое издание этой книги, многие вопросы нашей древности, в особенности курганные исследования, ознаменовались великим накоплением голых фактов и рассуждений, более или менее верных, а в иных случаях способных доказывать как истину самые противоречивые мнения и заключения. С большим усердием мы вскрыли и постоянно вскрываем могилы древних обитателей нашей страны и все-таки достоверно не знаем, наши ли это предки, или они чужеродны. История оставила нам множество народных имен, среди которых должны находиться и имена нашего русского славянства. Прямых свидетельств этому не имеем. Но косвенных указаний немало.

Пользуясь такими указаниями, автор предпринял попытку объяснить невнятные имена соответственно их географическому положению, что и было исполнено в третьей, ныне шестой, главе его труда. При этом автор должен выразить глубокую благодарность В.Н. Щепкину за переводы некоторых глав «Географии» Птолемея.

По обстоятельствам, не имея возможности воспользоваться накопленным сокровищем новых исследований, указаний, толкований, автор оставляет свой труд в прежнем виде и объеме, исправив встреченные погрешности и дополнив некоторые главы новыми сведениями и свидетельствами древних писателей, везде преследуя основную цель своих изысканий – *раскрытие истории пребывания древнего славянства в пределах нашей Русской страны*.

⁴ Ворсо И.И.А. Северные древности Королевского музея в Копенгагене. – СПб., 1861.

В высокой степени заботливо и усердно помогала автору в печатании этого второго издания предлежащей книги его дочь Мария Ивановна, которой он приносит сердечнейшую благодарность.

По убеждению автора, внимательное изучение свидетельств и показаний древней географии и этнографии достоверно выясняет ту непоколебимую истину, что от глубокой древности, по крайней мере от I века до Р.Х. и от I века по Р.Х., славянское племя в северной (Новгородской) области и в южной (Киевской) области занимало господствующее положение, обозначаемое иногда греческим словом василики, то есть царяющие – сарматы-василики, языги-василики.

Коренное общее, как говорит Птолемей, имя племени, по-видимому, принадлежало аланам, алаунам, населявшим самое нутро страны. От них южную половину страны занимали роксоланы, показавшие себя еще в войне с Митридатовыми полководцами почти за сто лет до Р.Х.⁵ Северная половина страны именовалась *Славянами*. Восточный Прикаспийский край именовался *Орсами*, *Алан-орсами*, что видоизменяет тоже имя роксолан. Одним общим именем вся страна у римлян прозывалась, вместо прежней Скифии, Сарматией, сокращенно от савроматов Геродота; греки в слове «савро» сохранили славянское имя «северо-», обозначая этим именем славянское племя, владевшее Доном. Это могучее племя под именем сарматов, истребившее скифов и овладевшее их землями, заставило римлян именовать всю страну Сарматией.

В то время как южная половина населения страны с именами сарматов и роксолан постоянно и немало беспокоила римлян по поводу налагаемой на них дани, северная половина с именем славян широко распространяла мирную колонизацию своего балтийского племени в глухих местах по рекам и озерам финского населения. На это достоверно указывают многочисленные *имена земли и воды*, каковы имена велетов-волотов и имена словен, раскрывающих вместе с тем особые периоды колонизации, из которых более древний период принадлежит волотам, а от II века по Р.Х. идет период словен, заверченный периодом словенско-варяжским.

⁵ В «Географии» Страбона упоминается, что роксоланы воевали против полководцев царя Митридата VI Евпатора. (Примеч. ред.)

Глава I. Природа Русской страны

Понятия древних о нашей стране. – Ее отличие от остального материка Европы. – Грудь Русской равнины. – Русский вид – ландшафт. – Русский мороз. – Лес и поле – степь. Свойства жизни в поле и в лесу. – Народные пути-дороги из нашей равнины в приморские и заморские страны юга, севера и востока. – Значение речного угла Оки и Волги

Обширный восток Европы – Русская страна уже в глубокой древности отделялась от остальных европейских земель как особый, своеобразный, совсем иной мир. Это была Скифия и Сарматия, безмерная и беспредельная пустыня, уходившая далеко к северу, где скрывался ужасный приют холода, где вечно шел хлопьями снег и страшно зияли ледяные пещеры бурных северных ветров. Там, в верху этой пустыни, по общему мнению древности, покоились крюки-замычки мира и оканчивался круг, по которому вращались небесные светила. Там солнце восходило только раз в год и день продолжался шесть месяцев; затем солнце заходило и наставала одна ночь, продолжавшаяся столько же времени. Счастливые обитатели той страны, гиперборейцы, как рассказывали, сеяли хлеб обыкновенно утром, жали в полдень, убрали плоды при закате солнца, а ночь проводили в пещерах. У этих гиперборейцев, на конце известного мира, древние помещали свои радужные мечты о счастливой и блаженной жизни и рисовали их страну и их быт теми блаженными свойствами, каких всегда себе желает и отыскивает человеческое воображение. Гиперборейцы обитали в приятнейшем климате, в стране, изобильной всякими деревьями, цветами, плодами; жили в священных дубравах, не ведали ни скуки, ни скорби, ни болезни, ни раздоров; вечно веселились и радовались и умирали добровольно, лишь тогда, как вполне пресыщались жизнью: от роскошного стола, покрытого яствами и благовониями, пресыщенные старцы уходили на скалу и бросались в море.

Поэтам и стихотворцам вся наша страна представлялась покрытой вечным туманом, парами и облаками, сквозь которые никогда не проглядывало солнце и царствовала повсюду одна «гибельная» ночь. Свои понятия о свойствах природы на дальнем севере они распространяли на всю страну и утверждали басню о *киммерийском мраке*, покрыв этим мраком даже светлую область Черноморья, где, собственно, и жили древние киммерияне⁶.

Несмотря на поэзию, древние, однако, достоверно знали, что далекий север нашей страны представлял мерзлую пустыню, покрытую ледяными скалами, что в средней полосе находились безмерные болота и леса, а южный край расстилался беспредельной степью, в которой обитали скифы, народ славный, мудрый, непобедимый, обладавший чудным искусством в войне, ибо догнать и найти его в степи было невозможно, равно как невозможно было и уйти от него. В этом коротком очерке скифской войны вполне и очень наглядно выразилось, так сказать, военное существо наших степей, да и всей нашей страны, откуда не могли выбраться со славой ни Дарий Персидский, воевавший со скифами, ни Наполеон, предводитель галлов, воевавший с русскими.

Древние хорошо также знали, что страна наша очень богата такими дарами природы, каких всегда недоставало образованному и промышленному югу. В их время отсюда, от Уральских гор, приходило к ним даже золото. Они знали, что днепровские и другие окрестные места славились чрезвычайным плодородием своей почвы и служили для них всегдашней житницей; что в устьях больших рек, и особенно в Азовском море, которое прозывалось матерью Понта, то есть Черного моря, ловилось невероятное множество рыбы, которая

⁶ Киммерий в античной историографии называлось Северное Причерноморье и Приазовье. (Примеч. ред.)

также составляла важнейший прибыток греческой торговли; что подалее, на севере, в лесах водилось столько пчел, что, по рассказам, они заграждали пути к дальнейшим краям севера; а от пчел приносилось новое изобилие меда и воска, доставлявшее точно так же великие прибыли южной торговле. Дальний север больше всего славился мехами пушных зверей, которых там водилось такое же множество, как и пчел, и меха которых роскошными людьми ценились очень дорого, ибо употреблялись не только для богатой теплой одежды, но и для украшения одежд опушкой наравне с золотом. От устьев Дуная и до устья Дона наши берега были, можно сказать, усыпаны греческими поселками и городами, которые все существовали и богатели только торговлей с нашим же краем. Словом сказать, с незапамятной древности природные богатства нашей страны не только привлекали к ней торговую промышленность образованного юга, но и служили красками для невероятных рассказов, рисовавших особые, неизвестные в других странах свойства нашего климата и нашей природы. Скифия была особым миром, имевшим свой особый людской нрав, свое особое небо, свой воздух, свои земные дары, свой особый нрав природы. Вот почему у древних греков в Афинах с жадностью целый день на торжищах слушали дивные рассказы приезжих от устьев Борисфена, как тогда прозывался наш славный Днепр, и, конечно, с большими преувеличениями, чтобы сильнее тронуть любопытство и произвести потрясающее впечатление, в чем повинен немало и Геродот.

Точно так же и новейшая наука признает, что Русская страна в своей географии есть особое существо, нисколько не похожее на остальную Европу, а вместе с тем не похожее и на Азию. Это глубокое различие раскрывается уже при первом взгляде на географическую карту Европы. Мы видим, что весь Европейский материк очень явственно распадается на два отдела, или на две половины. Западная половина, можно сказать, вся состоит из морских берегов, из полуостровов и островов да из горных цепей, которые служат как бы костями этого полуостровья, настоящими хребтами для всех этих отдельных и самостоятельных тел материка. При этом берега каждого полуострова и острова изрезаны морем тоже на мелкие отдельные части и разделены между собой заливами, морями, проливами. Горные хребты точно так же отделены друг от друга и малыми и великими долинами и низменностями. Все это вместе образует такую раздельность, особенность и дробность частей, какой не встречается нигде в других странах земного шара. Здесь повсюду самой природой устроены самые привлекательные и уютные помещения, как бы особые комнаты, в отдельности для каждого народа и племени, и во всем характере страны господствует линия точных естественных границ или со стороны суши, или со стороны моря.

Эта географическая особенность в распределении европейских народностей, несомненно, имела прямое влияние и на исторические начала западной жизни, особенно на широкое развитие начала индивидуальности и начала самобытности не только для каждого народа, но и для каждого человека. Как легко было найти между этих морей и заливов, посреди этих гор и долин, посреди всех этих отчетливых, ясных, резких и крепких изгородей природы уютное местечко или для неприступного замка, или для свободного города и зажечь особой и независимой ни от кого жизнью. Как легко было создавать здесь государство, сосредоточивать, прикреплять к месту, объединять жизнь человека и тем увеличивать, возвышать и распространять всяческие силы его развития. Вот главная причина, почему на западе Европы существует столько государств, сильных и могущественных всеми дарами человеческого развития.

К этому присоединилось и еще великое счастье. Природа, обособив для западного европейского человечества прелестные, покойные, уютные помещения, как добрый хозяин, позаботилась и о том, чтобы эти помещения были наделены большую часть года светлым небом и теплой погодой. Она не заморозила своего любимца лютым холодом и не сожгла его зноем азиатского или африканского солнца; она наградила его климатом умеренным и бла-

горастворенным, который давал столько облегчений для жизни человека, что его свобода ни одного часу не оставалась в темном порабощении от простых физических препон существования. Западный человек никогда не был угнетен непрестанной работой круглый год лишь для того, чтобы быть только сытым, одеться, обуться, спастись от непогоды, устроиться в жилище так, чтобы не замерзнуть от стужи, чтоб не потонуть в грязи, чтобы заживо не быть погребенным в сугробах снега. Западный человек не знал и половины тех забот и трудов, какие порабощают и почти отупляют человека в борьбе с порядками природы, более скупой и суровой. Все это, конечно, служило первой причиной, почему западный отдел Европы, этот сильно расчлененный ветвистый полуостров, сделался с древнейшего времени средоточием и гнездом культурной жизни всего человечества.

Совсем другое строение, другой склад материка и другой характер климата представляет восточная половина Европы, служащая основанием и как бы корнем для всего европейского полуострова. Этот восток Европы заключает в себе обширную, почти круглую равнину, у которой горные цепи: Карпаты, Кавказ, Урал, как и морские берега у морей Балтийского, Каспийского, Белого, Азовского и Черного, существуют только на далеких окраинах, так что все существо этой равнины уже географически представляет нечто весьма однородное, однообразное и нераздельное.

Равнина со всех сторон, особенно от берегов морей, постепенно возвышается к своей середине. Здесь она образует как бы широкую грудь, обширную, однако вовсе не заметную высоту, с которой во все стороны изливаются большие и малые реки. В некотором смысле это наши Альпы, которые точно так же, как и в гористой Европе, делят всю страну на четыре довольно отличные друг от друга части, спадающие по сторонам света, на север и юг, на восток и запад. Эту возвышенность называют теперь Волжской, именем самой большой реки, берущей отсюда свое начало, величайшей реки не только в нашей стране, но и в целой Европе.

В древности эта возвышенность была известна под именем Алаунских, или Аланских, гор, где жил народ алауны, а по нашей летописи она прозывалась Оковским, Воковским, иначе Волоковским⁷ лесом. Можно толковать, что это был лес волоков, или перевалов, из одной речной области в другую, так как при сообщениях суда и лодки обыкновенно волоклись, перевозакивались здесь сухим путем, на колесах или на плечах.

Волга со своим бесчисленным семейством больших и малых рек и речек, служащих ей притоками, опускает равнину на восток к пределам Азии, к Каспийскому морю; Западная Двина – на запад, к Балтийскому морю; Днепр, а рядом с ним Дон опускают равнину в южные степи, к Черному и Азовскому морям; Северная Двина, текущая из северных озер, за Верхней Волгой, опускает весь северный край в северные степи или в моховые тундры, уходящие к Белому морю и Ледовитому океану.

Равнина сходит от этой высокой середины во все стороны незаметными пологими скалами, отчасти увалами, холмами, грядами, нигде не встречая горных кряжей или вообще гористых мест, с которых по большей части несутся реки и речки Западной Европы. В этом также существует резкое отличие нашего востока от европейского запада. Тамашние реки по большей части *низвергаются*, ибо текут с высоты в пять и в десять раз выше нашей высокой площади; наши реки, напротив того, текут *плавно*. Оттого они многоводны и судоходны чуть не от самого истока и до устья, между тем как реки запада бывают судоходны только начиная со своего среднего течения.

⁷ Оковской, но чаще Воковской и Волковской, потом Вльковской и Волоковской. См.: Полное собрание русских летописей (далее: П.С.Р.Л.), I, 3; V, 83; VII, 262. Позднее Волконской. Ср. заметку Шлецера (Нестор, I, 69), что «олкос у Фукидида называется орудие для перетаскивания кораблей *по сухому пути*» (Волок).

Необычайная равнинность страны много способствует также и тому важному обстоятельству, что потоки рек, размножаясь по всем направлениям, образуют такую связную и густую сеть естественных путей сообщения, в которой всегда очень легко найти переволоку в ближайшую речную область и из непроходимого лесного или болотного глухого места выбраться на божий свет, на большую и торную дорогу какой-либо величавой и многоводной большой реки.

Это великое, неисчислимое множество потоков, доставляя почве изобильное орошение, придает и всей равнине особый внешний вид. Потоками она вся изрыта по всем направлениям, и потому если, за исключением обыкновенных увалов, она и не имеет горных кряжей, зато повсюду по руслам рек и речек образует в увалах береговые высоты, заменяющие горы и у населения обыкновенно так и прозываемые горами. Типом подобных русских гор могут служить Киевские горы и даже в Москве Воробьевы горы. На таких горах построены почти все наши старые города, большие и малые. Кажутся эти горы высокими горами особенно потому, что перед ними всегда расстилаются необозримые луговые низменности или настоящее широкое раздолье, чистое поле, уходящее за горизонт, так как вообще течение всех рек и речек сопровождается нагорным и луговым берегом, отделяющим увалистое пространство материка от обширных его долин и луговин. Такая черта русской топографии доставляет и особую типичную черту русскому ландшафту, основная красота и прелесть которого заключается именно в этом сочетании высокого нагорного берега реки и широкого раздолья расстилающейся перед ним луговины. В своих существенных чертах этот ландшафт по всей, собственно, Русской равнине одинаков. То же самое встречаем на севере, как и на юге, и особенно в средней полосе; одинаково, в самом малом объеме, на какой-либо малой речке, как и в величественных размерах берегового пространства на самых больших реках, на Днепре или на Волге. Различие заключается лишь в обстановке этих коренных линий ландшафта. На севере его окружает лес, на дальнем юге – степная бесконечная даль, а от величавости и ширины речного потока зависит большая или меньшая высота берега и большая или меньшая широта луговой низменности. Ландшафт родной природы такой же воспитатель народного чувства, как и вся физическая обстановка этой природы. Нет сомнения, что своими очертаниями он сильно действует и на нравственное существо человека, а потому чувство этого простора, чувство равнинное, быть может, составляет в известном смысле тоже типическую черту в нашем народном сознании и характере. Быть может, оно-то в течение всей истории заставляло наш народ искать простора во все стороны, даже и за пределами своей равнины. Влекомый этим чувством русский человек раздвинул свое жилище от Киева и Новгорода до Тихого океана, и притом не столько завоеваниями, сколько силой своих промышленных потребностей и силой своего неутомимого рабочего плеча.

Вообще внешний вид страны всегда в точности определяется своим ландшафтом. Если нам изобразят воды большой реки, пальму на берегу и вдали пирамиду, кто не узнает в этом малом облике Древнего Египта, который нарисован здесь весь полный и со своей физической природой, и даже со своей историей, ибо пирамида есть выразитель всей истории Египта. Кто по верблюду или по оленю не угадает и не представит себе пустыню юга или пустыню дальнего севера, как и при виде оседланного слона с беседкой на его хребте и посреди изумительно роскошных, разнообразных и чудных форм растительности кто не укажет, что это – Индия. Так точно, увидев воды реки или озера и тут же где-либо на высокой обрывистой горе каменный замок, группу каменных построек с торчащими башнями, зубчатыми стенами, подъемным мостом, кто не угадает, что это рыцарская Европа, Франция, Германия, Англия и т. д.

Наш русский вид точно так же вполне выражается той топографией, о которой мы сейчас говорили и которая обыкновенно оживляется если не городом или усадьбой, стоящими на крутом речном берегу, то порядком серых деревянных изб с их плетневыми постройками,

раскинутых где-либо по косогору или на привольном лугу и осененных Божьим храмом с золотистым крестом его высокой колокольни. Если только переменим порядок серых изб на мазаные и светловыбеленные хаты, разбросанные в зеленой густоте верб и тополей, то они тотчас перенесут наше воображение тоже в родной край, в Малороссию, в Южную Русь. Прибавим к этим двум основным обликам нашего жилья обстановку окружающей его природы или, собственно, его горизонты, кругозоры: к избам – косогоры и синеющие вдали леса, к хатам – беспредельное чистое поле, покрытое растущими хлебами, и мы получим в общих чертах весьма существенную характеристику нашего родного землевлада.

Но что особенно поражает в нашем равнинном землевладе, так это окружающая его невозмутимая тишина и спокойствие во всем, во всех линиях: в воздухе и в речном потоке, в линиях леса и поля, в формах каждой деревенской постройки, во всех красках и тонах, одевающих все существо нашей страны. Как будто все здесь притаилось в ожидании чего-то или все спит непробудным сном. Само собой разумеется, что такой характер страны получается, главным образом, от ее неизмеримого простора, от ее беспредельной равнинности, молчаливое однообразие которой ничем не нарушено ни в природе, ни в характере населенных мест. К тому же именно в отношении малого, редкого населения наша страна всегда походила больше всего на пустыню. Людские поселки в лесных краях всегда скрываются где-то за лесами; в степных же они, теснясь ближе к воде, лежат в глубоких балках, невидимые со степного уровня. Оттого путник, проезжая вдоль и поперек эту равнину, в безлесной степи или в бесконечном лесу, повсюду неизменно чувствует, что этот великий простор, в сущности, есть великая пустыня. Вот почему рядом с чувством простора и широты русскому человеку так знакомо и чувство пустынности, которое яснее всего изображается в заунывном звуке наших родных песен.

Господином нашей страны и полным ее хозяином в отношении климата было, конечно, светлое и теплое солнце, дававшее всему жизнь и движение. Но свое благодатное господство оно делило пополам с другим, еще более могущественным хозяином нашей страны, которому вдобавок отдавало большую половину годового времени. Имя этому другому хозяину было мороз. Это было такое существо, о котором рассказывали чудеса еще древние греки. Их изумляло, например, то обстоятельство, что если во время зимы в нашей Скифии прольешь на землю воду, то грязи не сделаешь, вода застынет; а вот если разведешь на земле огонь, то земля превратится в грязь. От воды земля крепнет, от огня становится грязью – вещи непонятные и необъяснимые для обитателя мест, где снеговой и ледяной зимы вовсе не бывает. Во всей стране, говорит отец истории Геродот, описывая только наши южные края, бывает такая жестокая зима, что восемь месяцев продолжаются нестерпимые морозы. Даже море (Азовское) замерзает и через морской пролив (Керченский) зимой ездят на тот берег повозки, а посреди пролива на льду происходят сражения⁸. По причине лютой стужи в Скифии и скот родился без рогов, а лошади были малы ростом. От мороза лопались даже медные сосуды. Во времена Эратосфена в городе Пантикапее (нынешняя Керчь) в храме Асклепия находился медный, треснувший от мороза кувшин с надписью, что он поставлен не в дар божеству, а только показать людям, какие бывают зимы в этой стране. Геродоту сами скифы рассказывали, что на севере за их страной воздух наполнен летающим перьем, отчего нельзя ничего видеть, ни пройти дальше. По моему мнению, замечает Геродот, скифы называют перьем густой снег, потому что снег походит на перье. Другие, позднейшие описатели нашей страны точно так же с изумлением рассказывали многие басни о чудесах нашего мороза. По их словам, уже не сосуды, а сама земля от мороза трескалась широкими расселинами; дере-

⁸ Это свидетельство отца истории о восьми месяцах нестерпимой стужи именно в южном краю нашей страны может служить любопытным указанием, что климат нашего юга в течение 2500 лет значительно изменился в сторону тепла, что вообще наш Север в значительной степени, так сказать, оттаял от ледяной коры, чему служат доказательством и оттаявшие сибирские мамонты.

вья расщеплялись от вершины до корня и т. п., так что само имя Русской страны поселяло в тогдашних умах понятие о единственном ее властителе и хозяине, о лютом морозе.

Действительно, мороз, когда распространял свое владычество, превращал эту равнину, и без того очень пустынную, в совершенное подобие всеобщей смерти. Само имя «мороз» означает существо смерти. Но если при его владычестве умирала природа, зато во многих углах нашей страны, и особенно ближе к северу, оживали новой деятельностью люди. При морозе открывалась самая прямая дорога в такие места, которые до того времени бывали вовсе недоступны. Именно в Новгородской области нельзя было с успехом воевать, как только во время крепких морозов, в глубокую осень или в течение зимы. Сам сбор дани с подвластных племен начинался с ноября и продолжался во всю зиму. Естественно, что тогда же открывались и прямые ближайшие торговые пути, особенно в северные глухие углы. Зима ставила путь повсюду, летом всякий путь шел только по большим рекам и, конечно, был труднее во всех отношениях. По летнему сухому пути ездили разве в ближайшие места, ибо леса, болота, весенние разливы бесчисленных рек делали такой путь в далекие места совсем невозможным. Целые войска, шедшие друг против друга воевать, иной раз расходились в лесах по разным направлениям и не встречались на битву. Вообще в лесной северной стороне весенние разливы рек чуть не на все лето покрывали поля, луга, леса сплошными бесконечными озерами, по которым нельзя было проложить себе дорогу ни на лодке, ни в повозке и которые в летнюю, уже сухую, пору превращались только в бесконечные же болота. Только один батюшка-мороз пролагал пути и дороги повсюду и побуждал предприимчивого человека к деятельности, которая совсем была невозможна в другое время, кроме зимы. Однако эти пути-дороги открывались и пролегали не столько по замерзшим болотам, но главным образом по тем же рекам, по направлению их русла, которое, замерзая, давало твердую площадь для езды. В этом случае и малые реки, хотя бы и очень извилистые в своем течении среди дремучего, непроходимого леса, служили надежной дорогой, чтобы обратиться на божий свет.

Иное дело было в южной половине страны, в чистом поле, в широких степях. Здесь всякие походы открывались по преимуществу весной и совершались по сухому пути верхом на конях. Только весной широкая и далекая степь зеленила пойменные луга и представляла обильное пастбище как для коней, так и для всякого скота, ибо горячее лето обыкновенно высушивало траву и устанавливало полную бескормицу. В зимнее время почва замерзала и оставляла под снегом скудный и тощий подножный корм, который еще не совсем легко было отыскать в степном пространстве. Стало быть, только весной в степи с особенной силой оживала деятельность человека, направленная, впрочем, больше всего на военные набеги и походы. Весной же по рекам поднимались и торговые караваны, сплавывшие свое добро в Черное и Азовское моря. Таким образом, торговое и военное сердце Древней Руси – Киев, справив в зимнюю пору все свои дела на севере, с весной отворял ворота на дальний юг и уходил или по Днепру на лодках в столицу тогдашней образованности и культуры, в богатый Царьград, или по чистому полю к синему Дону громить идолище поганое, печенегов и половцев. К заморозкам все давно уже были дома и снова собирались в поход на дальний север. Таково было кругообращение южной, киевской жизни с древнейшего времени, с той поры, когда Киев стал матерью русских городов. Но таков был неумолкаемый перелив русской жизни и вообще с незапамятных времен. Лес и поле делили ее пополам и непрестанно тянули в свои стороны. То она раздвигалась широко и далеко до самых морей и до гор Кавказских и Карпатских по полю, то уходила глубоко в северные леса, пролагая тесные и трудные пути тоже к морям. И долгое время совсем неизвестно было, где она сложится в живое, сильное и могущественное единство.

Собственно древнерусское жильё в нашей равнине по своему географическому характеру в действительности еще нашими предками делилось на *лес и поле*.

Именем леса в особенности обозначались сплошные леса, покрывавшие северную сторону от Киева и Курска, но и все пространство на запад от Киева, не говоря о дальнем севере, а также и на восток, к Волге, тоже было покрыто лесами. Поле начиналось в полосе чернозема, еще с берегов Верхней Оки и Верхнего Дона, и особенно распространялось в полосе Киева, Курска, Харькова, Воронежа. Хотя полем обозначались вообще степные пространства, однако в русском смысле такие, где местами росли тоже леса, ибо поле, как покое место, по начальному своему значению, всегда указывало, что где-либо в окрестности существует и лес. Такое именно поле вперемежку с лесами расстилалось от верховьев Дона дальше к югу до той полосы, где лесная растительность совсем прекращалась и где начиналась уже настоящая, совсем безлесная степь. Черта этого степного пространства проходит по нижнему течению всех рек, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря. Отсюда степи тянутся еще дальше на восток и теряются в бесконечном пространстве азиатских равнин.

В степи совсем безлесной лесная растительность держится только по руслу рек и речек и вообще по низменной долине их потоков, вбегая иногда в виде кустарника в близлежащие глубокие овраги или балки. Чем дальше к северу, тем эти луговые низины, овраги и балки полнее занимаются кустарником, который еще дальше на север принимает уже силу настоящего леса, и в полосе поля все леса обыкновенно держатся на таких низинах и оврагах, ибо только по ним распространяется из рек необходимая влага. В самой степи за недостатком этой влаги леса вовсе не было; но зато по диким местам росли непроходимые терны и другие подобные кустарники, и всю степь покрывала густая и высокая трава, разного рода бурьян, которые в глухих и непроездных местах уподоблялись лесу, так что всадник мог в них скрываться и с конем.

Для овцы и рогатого скота, как и для всякого мирного и хищного зверя, здесь было полное раздолье. Оттого степью и владели по преимуществу кочевые племена, переходившие на приволье с места на место, следуя за своими стадами. Как скоро на одном месте весь корм был выеден, стадо само отыскивало другое место лучшей пищи и уходило дальше, за ним дальше переходил и пастырь-кочевник.

В отдалении от больших рек степь обыкновенно так ровна и открыта, как ладонь; приближаясь к рекам, она бороздит свою поверхность множеством широких, глубоких отлогих оврагов или балок, поросших тоже густой травой, которые, расходясь в разных направлениях, все-таки под конец соединяются в одно общее русло и падают в реку.

Ясно, что такое устройство приречной степной поверхности зависело от весенних и дождевых потоков, направлявших свое течение в реку. В степи иной раз встречается целая система таких широких и отлогих оврагов, по которым тайно и невидимо с уровня степи можно проходить из одной далекой местности в другую, чем и пользовались кочевники и потом казаки, появляясь в иных случаях внезапно перед лицом неприятеля. Многообразное разветвление степных балок очень похоже на разветвление речных потоков на севере страны с тем различием, что там повсюду встречаются свежепрорытые обрывистые берега не только при реках, но и при малых ручьях и оврагах, между тем как степные балки, как мы упоминали, по большей части широко разложисты, ходят больше на долины и всегда покрыты, как и сама степь, густой травой.

Прошли тысячелетия, но и до сего времени степь помнит своих первых обитателей. По ее широкому раздолью путник беспрестанно встречает там и здесь раскинутые группами или стоящие одиноко так называемые в народе могилы, или курганы, иногда поражающие своей огромной величиной, некоторые из курганов доходят до 10 с лишком сажень⁹, а более отвесной высоты и до 50 сажень и более в поперечнике по подошве насыпи. Эти громадные могилы служат как бы маяками в беспредельной пустыне, оживляют ее ландшафт и, будто

⁹ Сажень равна 2,2 м. (Примеч. ред.)

живые существа, что-то рассказывают и что-то думают о неизвестной истории своих строителей. Народ очень давно подметил впечатление, производимое на путника этими гигантами степной равнины, и воспел его в своих песнях¹⁰.

По большей части и особенно громадные могилы, как и целые группы средних и малых курганов, стоят на таких высотах, откуда во все стороны расходятся бесчисленные балки, то есть стоят, так сказать, на степных горах или взлобьях, называемых в нашей летописи и в «Слове о полку Игореве» *шеломьянем*, родственным слову «шлем, шелом», а также и прямо *горой*, в смысле высокого места. Надо полагать, что такие горы были родовые и на их высоте погребались родичи и вожди племени, которое занимало своим кочевьем близлежащие окрестности. Естественно также, что для степных обывателей курганы служили маяками, верстовыми столбами, по которым степняки распределяли и узнавали свои пути-дороги и свои жилые границы.

Вместе с тем и позднейшие кочевники всегда выбирали высокую могилу для расположения вокруг нее своего коша, или временной стоянки. Тут они размещали свои повозки и палатки, строили даже хаты, а с верха кургана наблюдали за стадами. С большого кургана по прямой линии привычным глазом степняка можно ясно видеть на очень далекое расстояние.

Для кочевника во внутренней степи труднее всего было добывать себе водопой. Колодцы, копани, или же родники, криницы, существовали на дне глубоких и далеких балок, поэтому и само место коша обыкновенно выбиралось вблизи рек и речек или таких мест, где издревле существовали копаные колодцы и родники – криницы. Это было единственное недвижимое, непереносимое и неперевозимое имущество степняков, которым обыкновенно пользовался каждый род особо и из-за которого, вероятно, много происходило у них браней, ссор и междоусобий.

Существенная сила степной жизни для человека заключалась, однако, не в стаде, но в быстром коне. Это благородное животное для степняка являлось вторым его существом. Без коня он не мог ухаживать за своими стадами, пасти их и защищать от воров-людей и от воров-зверей. Притом степь, беспредельно ровное и открытое пространство, нигде не представляет никакой защиты. Эту защиту можно находить только в быстроте передвижения, ибо спрятаться от врага некуда и нужно искать спасения только в быстром беге коня.

В лесу каждое дерево, каждый куст способствуют обороне и могут укрыть всякий след. Но в степи все открыто и всякое движение на ладони. Ни засады, ни обороны устраивать негде и приходится бежать, уноситься на коне, что для кочевников с самых древнейших времен служило единственным способом всякой обороны. Зато кочевник так любил и уважал коня, что почитал незаконным и бесчестным запрягать в повозку даже и негодного; на это искони были определены волы. Он и хоронил его вместе с собой, иногда укладывал его рядом возле себя.

В самой середине наших южных безлесных приморских степей существовало одно место, которое все было покрыто лесом и у древних греков так и прозывалось – илея, лес, а по-русски – олешье. Это место находилось в устье Днепра, на левом, восточном его берегу, где и теперь существует на месте древнего новый город Алешки¹¹. Лес отсюда простирался по Днепру и дальше к северу, особенно по течению реки Конка, от самого ее впадения в

¹⁰ Ой, у поли могыла з витром говорила: Повий, витре буйнесеньский, щоб я не чорнила! Щоб я не чорнила, щоб я не марнила: Щоб на мени трава росла, та ще й зеленила... И витер не вие, и сонце не грие, Тильки в степу пры дорози трава зеление...

¹¹ У Прокопия, писателя VI века, вся эта страна именуется Элиссией, Эвлисией. По мнению других писателей, здесь существовал город Элиссос, обозначаемый на итальянских картах *elexe, elise, egehe, egehe* (Древности Геродотовой Скифии. – Вып. II. – СПб., 1872. Статья г. Бруна. С. 27), что все вместе, от VI до XIV веков, только огречивает и олатынивает то же самое коренное славянское имя олешье. Ольха, елоха в старинном топографическом языке означало болото, водяное, пойменное место, покрытое кустарником и мелколесьем. (Алешки – совр. г. Цюрупинск Херсонской обл. в Украине. – Примеч. ред.)

Днепр и по всем рукавам Днепра, образующим многочисленные широкие пойменные луга, называемые *плавнями*. Затем все острова Нижнего Днепра тоже были покрыты лесом так, что, особенно в глубокой древности, этот лес начинался почти от самых порогов и при устье обнимал все близлежащие заливы, озера и Перекопские болота. В Средние века здесь гнезился какой-то беспокойный народ, заставлявший много говорить о нем и о так называемых Меотийских, то есть здешних, болотах, которые по тогдашним понятиям были одно и то же с Азовским морем. Кочевники приходили в эти луговые и лесные места на зиму, ибо здесь, в низменных местах, близ моря и в лесу, было теплее и представлялось больше защиты от зимних вьюг и ветров как для скота, так и для людей. Хозяева близлежащих степей и теперь перегоняют сюда на зиму стада овец для более привольного корма и защиты от стужи.

Надо заметить, что в южной русской речи такие пойменные, покрытые сплошным лесом низины носят собственное название *лугов*. Внизу Днепровских порогов, где некогда существовала Запорожская Сечь, все низменное пространство днепровских разливов, еще и теперь покрытое густым лесом, так и называлось – Великий Луг¹². В южном языке луг, стало быть, значит лес, совсем противоположно северному понятию о луге как о пологом, безлесом чистом месте. В таком различии смысла для одного и того же слова выразились только различные свойства степной и лесной природы. В южных полевых и степных краях лесная растительность, как мы говорили, держится по преимуществу только в низменных, сравнительно с другими, наиболее влажных местах; оттого прямое понятие о луге как о пойменной низменности перешло в исключительное понятие о всяком лесе¹³.

Жизнь в чистом поле и жизнь в лесу воспитывали и самих людей весьма различно. Наше русское поле отличалось своей плодородной черноземной почвой, вознаграждавшей всегда с избытком даже самый легкий труд земледельца. Оно лежало в климате более теплом, чем лесная сторона, и потому представляло множество облегчений и удобств для жизни, в иных случаях совсем устранявших особенную заботу о завтрашнем дне. Часто случалось, что, сжиная свой хлеб, земледелец не заботился о будущем посеве, так как для такого посева бывало достаточно одной падалицы, то есть упавшего зерна при уборке, которое, вспаханное потом деревянным ралом, приносило на будущее лето тоже немалый плод. Так точно и все другие хозяйственные произрастания в изобилии давали плод каждому доброму и старательному и даже нестарательному хозяину. Для скота всегда были приволье и корм на тучных лугах широкого поля. Устройство самого жилища вовсе не требовало от поселянина стольких трудов, забот и хлопот. Из хвороста и глины, перемешанной для связи с навозом, он лепил себе на нескольких столбах хату, покрывая ее пшеничной соломой или тростником. На южном солнце чем дольше хата стояла, тем становилась крепче и суше, и никакие дожди ей не были опасны, ибо то же солнце тотчас все высушивало. На севере такая хата от вечной продолжительной мокроты разлезлась бы и развалилась бы по частям. Постоянное возобновление обмазки глиной, а для чистоты мелом так легко, что этим делом издревле занимаются только женщины, они же наполовину строят и саму хату, ибо смазка из глины ее стен есть как бы наследственная их обязанность. Затем и известная чистота южных крестьянских жилищ вполне также зависит от неизбежного возобновления их обмазки глиной и особенно мелом. Простой мел играет здесь роль премудрого воспитателя, распространителя и охранителя крестьянской чистоты и опрятности, ибо выбеленная хата сама уже указывает, что всяческая грязь, как в северных избах, в ней непозволительна.

И всему этому, главным образом, способствует более теплый климат и более яркое и горячее солнце.

¹² Ныне территория Великого Луга, за исключением острова Хортица и земель по левому берегу Днепра, затоплена водами Каховского водохранилища. (*Примеч. ред.*)

¹³ *Максимович М.* Откуда идет Русская земля. – Киев, 1837. – С. 134 (примеч. 60).

Как для степняка-кочевника его основную силу и второе его существо представлял конь, так и для степного земледельца, жившего в поле, истинной его силой и вторым его существом был сивый вол.

Без вола южный поселянин как без рук совсем бы пропал и погиб. Никакая лошадь в грязную погоду не вывезет по чернозему и саму себя; а вол ступает себе тихо и мирно и перевозит такие тяжести, каких и целый табун коней не сможет с места тронуть, не говоря о том, что поднимать под пашню плугом черноземную новину только и возможно в несколько пар волов.

Но вол, как второе существо южного человека, по необходимости вселял в своего хозяина свои обычаи и нравы: свое упрямство, неповоротливость, медлительность не только в поступках и действиях, но даже в мыслях и понятиях. Ничто вокруг не устремляло южного поселянина к быстрому соображению, к быстроте понимания, к быстрой догадке и сметке, чем в особенности отличается северный поселянин. Хозяйство южного человека все проходило на волах, тихо, спокойно и медленно. Он никогда не испытывал особенно горячей поры в своих работах и заботах, его существование вполне было обеспечено его мягкой, доброй, нежной природой. Оттого и сама его песня звучит больше радостью, любовью, беззаботным весельем, чем тяжелым трудом и тяжелым горем жизни, оскорбленной самой природой.

Но и на юге среди чистого поля и широкого раздолья, посреди благодатной природы долгое время существовало свое горе, хотя и не такое обидное, какое дается со стороны природы, которое побороть нельзя, которое безвыходно и приводит человека в отчаяние. На юге с этим горем можно было бороться, можно было его победить. Однако целые века его победить было невозможно, целые века оно отравляло и разоряло южную жизнь и не давало ей собираться в живое, могущественное единство.

Южное русское славянство своими широкими полями прилегало, как мы говорили, к безводной степи, где нельзя было заниматься земледелием и где поэтому странствовали только одни кочевники. Эти-то кочевники, это идолище, чудище поганое, никогда не давали покоя обитателю нашего поля.

Выждав время и удобный случай, они внезапно набрасывались на полянина-земледельца, грабили его, сжигали его хаты, угоняли скот, уводили в плен людей. В этих обстоятельствах не помогали иногда и крепкие города. Очень естественно, что южный земледелец должен был жить всегда наготове для встречи врага, для защиты своего паханого поля и своей родной земли. Важнейшее зло для оседлой жизни заключалось именно в том, что никак нельзя было прочертить сколько-нибудь точную и безопасную границу от соседей-степняков. Эта граница ежеминутно перекатывалась с места на место, как та степная растительность, которую так и называют перекаати-полем. Нынче пришел кочевник и подогнал свои стада или раскинул свои палатки под самый край паханой нивы, завтра люди, собравшись с силами, прогнали его или дарами и обещанием давить подали удовлетворили его жадность. Но кто мог ручаться, что послезавтра он снова не придет и снова не раскинет свои палатки у самых земледельческих хат. Поле, как и море, – везде дорога, и невозможно в нем проложить границ, особенно таких, которые защищали бы, так сказать, сами себя. В таких обстоятельствах очень естественно, что население в иных, наиболее бойких местах, выставляло живую границу из людей, всю жизнь отдававших полевой войне. Естественно, что в иных местах население по необходимости становилось казаками, почти такими же разбойниками-степняками, от которых надо было защищаться. Таким образом, на полевой нашей окраине с незапамятной древности должны были существовать дружины удальцов, не принадлежавших ни к земледельцам, ни к кочевникам, а составлявших особый народ, даже без названия, отчего и в нашей летописи есть только слабые намеки на его существование. Свое название эти дружины получали больше всего от тех мест, где они скоплялись и откуда особенно распространялась их удалая воинственная сила. На памяти нашей истории они

назывались *бродниками*, быть может, от слова *бродить*, то же, что и кочевать, или от сброда, от собрания всяких людей. Потом они стали называться черкасами, от места или от свойства своей жизни, неизвестно. Наконец эти удалыцы получили имя казаки, тоже не совсем объяснимое, что оно первоначально означало. По всему только видно, что этот народ нисколько не заботился о своем имени. Живя за Днепровскими порогами, он назывался запорожцем, живя на Дону, он назывался донцом. Но любопытно, что еще при Геродоте, за 450 лет до Р.Х., на Нижнем Днепре, который тогда назывался Борисфеном, жили борисфениты-днепровцы, а при Птолемею, в половине II века после Р.Х., на повороте Дона жили донцы-танаиты. Отчего те и другие назывались исключительно по имени рек, когда рядом с ними существовали обитатели, называвшиеся своими именами? Не существовало ли и в те времена той же самой причины, что это были люди, не принадлежавшие к какому-либо особому племени, а составлявшие сброд людей от всяких племен?

Как бы ни было, но происхождение нашего казачества должно уходить в глубокую древность, ибо оно, казачество, есть неизбежное физиологическое явление древнейшей жизни наших украинцев, вызванное на божий свет их географическим положением и ходом самой истории. Круглая беззащитность широкого чистого поля создавала по необходимости своего рода защитника; страх от внезапного набега врагов создавал из украинца всегдашнего воина, который по необходимости промышлял тем же, чем промышляли настоящие степняки-кочевники. Таким образом, жизнь в чистом поле, подвергаясь всегдашней опасности, была похожа на азартную игру. «Либо пан, либо пропал», – разносилась там в народе пословица, вполне выражавшая состояние тамошних дел.

Лесное место вблизи устья Днепра, о котором мы говорили, было постоянным и как бы природным казацким гнездом с незапамятных времен. Казачество здесь рождалось, непрерывно возобновлялось само собой, постоянным приливом всяких людей от разных сторон, или прямо искавших нового счастья, или убежавших от домашнего несчастья, от уголовной беды, от отцовской или властелинской грозы и от множества подобных причин.

Не то было в нашей северной лесной стороне. Она тоже жила рядом с диким варварским населением, иногда бок о бок с каким-либо Соловьем-разбойником, сидевшим на двенадцати дубах и не пропускавшим мимо себя ни конного, ни пешего. Но в лесу не то, что в чистом поле: здесь везде можно устроить засаду и везде можно спрятаться. Здесь, забравшись в какую-либо трущобу, можно так ее укрепить и защитить, что она не убоится никакого врага. Здесь вообще работой и трудом неуклонно можно подвигаться вперед и вперед, можно распространять свои границы, хоть исподволь, шаг за шагом, но зато твердо, определенно и точно, потому что здешние границы не такие, как полевые, они менее подвижны. В лесу что бывало сделано в смысле оседлости и устройства прочного жилья, то пускало глубокие корни, и вырвать их было нелегко. В нем, конечно, нельзя с таким раздольем, как в степи, в поле, зайти очень далеко, унести в любую сторону и потерять даже собственный след. В нем, напротив, только по проложенному широко и глубоко следу и возможно какое-либо движение. Зато однажды, хотя и с трудом, проложенный путь в лесу становился на долгое время неизменной и прямой дорогой ко всяким выгодам и облегчениям жизни.

Лес по самой своей природе не допускал деятельности слишком отважной или вспыльчивой. Он требовал ежеминутного размышления, внимательного соображения и точного взвешивания всех встречных обстоятельств. В лесу главнее всего требовалась широкая осмотрительность, ибо кругом существовало не одно идолище поганое, а слишком много предметов, которые столько же, как и подобное чудище, препятствовали движению вперед. От этого у лесного человека развивается совсем другой характер жизни и поведения, во многом противоположный характеру коренного полянина. Правилom лесной жизни было: десять раз примерь и один раз отрежь. Правилом полевой жизни, как мы упомянули, заключалось в словах: либо пан, либо пропал. Полевая жизнь требовала простора действий, она прямо

вызывала на удасть, на удачу, прямо бросала человека во все виды опасностей, развивала в нем беззаветную отвагу и прыткость жизни. Но за это самое она же делала из него игральные всяких случайностей. Вообще можно сказать, что лесная жизнь воспитывала осторожного промышленного политического хозяина, между тем как полевая жизнь создавала удалого воина и богатыря, беззаботного к устройству политического хозяйства.

К тому же для полянина, жившего в довольстве со стороны природной благодати, не особенно требовалась помощь соседей. Он к ней прибегал только в военных случаях, но в мирной повседневной жизни он и на малом пространстве легко мог завести такое сильное и обширное хозяйство, что оно вполне его обеспечивало. Оттого в его сознании небольшую цену имела мысль устраивать свою землю по плану одного общего хозяйства, по плану одного господства, государства. В поле каждое, даже мелкое, хозяйство могло спустя рукава существовать особняком, ни в чем независимо от других. В лесу и это обстоятельство действовало иначе. Там и люди во многом вполне зависели друг от друга. Природа их теснила со всех сторон. Необходимый простор для действий жизни добывался даже и в малых делах только при помощи общего союза и соединения по той причине, что ни одно хозяйство там не было полно: всегда чего-либо недоставало и что-то необходимо было доставать у соседа. В одном месте было много лесного зверя или рыбы в водах, зато не было хлеба; в другом был хлеб, зато недоставало материалов для одежды и т. д. Поле в этом случае представляло больше полноты и круглоты, даже и для малого хозяйства. Потребности и нужды его обитателей удовлетворялись легче и независимее от соседей, и потому каждая отдельная земля там в полной мере была самостоятельным господством.

К этому присоединялась еще едва ли не самая важная причина, почему южные славяне искони жили в раздельности и сохранили навсегда стремление жить особняком. Все речные области в полосе поля по природе были раздельны между собой, все главные реки текли оттуда в море, каждая особо. Поэтому Днестр, Буг, Днепр и Дон очень рано собирают на своих берегах вполне независимые поселения, которые нисколько не нуждаются друг в друге и действуют всегда особняком. Днестр нисколько не зависел от Днепра, а Днепр – от Дона.

Между тем все реки северной страны постоянно находились в зависимости от соседей и посредством устьев и переволоков сплетались в одну связную и плотную сеть, что должно было выразиться и в характере населения. Несмотря на природную отдельность Новгородской речной области, она в своих границах крепко связывалась со всей Волжской областью, а на Волге господствующее положение было занято Окой, так как по ней шло к Волге древнейшее население восточных славян, первых колонизаторов здешнего края, удалявшихся сюда добывать себе хлеб не войной, а земледельческой работой. На притоках Оки, естественно, и возникла хозяйственная сила всего северного славянства, очень легко собравшая потом все раздельные земли в одно общее хозяйство – господство.

Мы уже обозначили, что Алаунская, или Волжская, возвышенность распределяет всю страну в географическом смысле на четыре главные доли, соответственно сторонам света, точнее, на несколько речных областей, спадающих с этой высоты в весьма различных направлениях. Притом этой одной высотой еще не вполне определяется распадение речных областей в разные стороны. Несколько южнее и восточнее Волжской возвышенности существует другая возвышенность, которую можно обозначить Донской, так как с нее на юг течет Дон со своими притоками, а на север Ока также со многими притоками. Эта самая возвышенность, проходя от запада к востоку, от Орла до Самары, бок о бок с течением Верхней Волги до Камы, заканчивается на Волге Самарской лукой. С нее на север и на юг, кроме Оки и Дона, текут многие другие значительные реки, притоки Оки, Волги и Дона.

Таким образом, по направлению этой возвышенности Русская страна делится на две почти равные половины: северную и южную. От этого водораздела к югу и начинается поле, а к северу идут сплошные леса.

В южной половине все важнейшие реки, начиная от Днестра, и даже сама Волга, текут на юг, хотя и поворачивают к востоку, огибая каменную гряду южных степей. В северной половине большая часть главных рек течет на север, и только одна Волга течет прямо на восток, направляя за собой и все свои притоки.

Реки – земные жилы, артерии, но еще правдивее они могут так называться в этнографическом и историческом смысле. В какую сторону они текут, в ту сторону течет и народная жизнь. Поэтому весь наш юг, протекая своими реками в моря Черное, Азовское и Каспийское, уносил туда и все стремление южного народа. С самых древнейших времен, как увидим, еще от времен киммерийцев, южное население постоянно отливало более или менее сильными потоками во все окрестные места Черного и даже Каспийского морей, не говоря о ближайшем Азовском, которое для этого населения искони было внутренним озером.

Вот по какой причине древность очень хорошо знала, где находится Скифия, а средний век (Средневековье. – *Примеч. ред.*) очень твердо помнил, что в этом углу существуют Меотийские болота, Азовское море с близлежащими заливами Гнилого моря¹⁴ и Днепровским лиманом, откуда поднимаются не только туманы, но и страшные силы варварских набегов. С другой стороны, и варвары, населявшие наши южные реки, очень хорошо знали, что на том берегу Черного моря существуют богатые города, что за Кавказом к Каспийскому морю прилегают очень богатые торговые и промышленные счастливые области, в которых текут медовые реки в кисельных берегах.

Само собой разумеется, что нашим варварам не пришло бы в голову, что существуют на свете такие страны, если бы не рассказали им об этом греческие города, разбросанные по нашим морским побережьям. Нет сомнения, что эти торговые города из зависти, из соревнования, из-за какой-либо обиды указывали не только пути, как туда проникать, но основательно объясняли и все обстоятельства, в какое время выгоднее сделать нападение.

Как бы ни было, но наш полевой и степной приречный юг очень хорошо знал не только плавание на тот берег Черного моря, но и все тесные ущелья Кавказских проходов, когда набег предпринимался сухим путем. Он вообще смотрел на эти южные загорские и заморские страны, как мы теперь смотрим на запад Европы. Там живут образованность, высшая культура, то есть живет богатство, довольство жизни, даже роскошь. Мы теперь уносимся в Европу для приобретения этой образованности, для приобретения познания, просвещения и всяких плодов цивилизации. Древний наш варвар уносился на Черноморский и Закавказский юг тоже для приобретения плодов развития, но одних только материальных, и приобретал он их не уплатой собственных денег, а мечом и грабежом. Конечно, и его вызывала к походу та же сила, которая двигает и нами, – бедность, недостаток нужных вещей.

Таким образом, народные стремления нашего юга, кому бы они ни принадлежали, славянам или другим народам, постоянно были направлены к югу же. Естественно, что они должны были окончиться водворением у нас южной цивилизации, как и случилось уже на памяти наших летописей, когда наконец всенародно была принята нами Христова вера.

Как увидим, вся история нашего юга, то есть вся его жизнь, действовала именно в этом направлении. Коренной силой этой истории с незапамятных времен был Днепр. Его правой рукой был Днестр, а левой – Дон. С Днестра шла дорога за Дунай, куда главным образом и теснился избыток нашего населения; с Дона пролегалась дорога на Волгу, в Каспий и к Кавказским горам, куда тоже постоянно теснилось донское население.

Южная наша история, однако, сильно тянула также и на запад Европы, несмотря на то что в эту сторону отсюда не было речной большой дороги, а лежал здесь сплошной и высокий материк, с которого все реки текли в нашу же равнину, одни – в область Днепра, другие – в Дунай и в Черное море. Но по верховьям этих рек существовала на запад сухопутная

¹⁴ Залив Сиваш. (*Примеч. ред.*)

дорога, которая была перевалом, переволоком из наших речных областей в речные области западного славянства.

Этот перевал протягивался по предгорьям и по направлению Карпатского хребта, срединного места для всех славянских племен. С него, как из одного узла, реки направляются и в нашу сторону, и далеко на северо-запад, в сторону Балтийского моря. Здесь вершина Черноморского Днестра очень близко подходит к вершине Сана, верхнего притока Балтийской Вислы, и к вершине Западного Буга, среднего притока той же Вислы. Отсюда же несколько дальше берет начало сама Висла и рядом с ней Одра (Одер), важнейшие славянские реки Балтийского Поморья, отделяющие полуостровной запад Европы от восточной ее равнины. Таким образом, на этом перевале самой природой связан узел славянской жизни, направлявший свои нити к двум знатнейшим морям. Вот почему на этом самом перевале или вообще вблизи него начинается и древнейшая история славян.

Карпатские горы в некотором отношении были в свое время славянским Кавказом. Здесь с незапамятных времен крепко держался корень всего славянства; отсюда он отделял стволы и ветви по всем направлениям. По крайней мере, в древнейших преданиях славянства о своем происхождении северные племена указывают обыкновенно на юг, южные – на север; и те и другие, как на свое средоточие, – на Прикарпатскую страну. Само имя Карпат олатынено из славянского «горб» – «гора». Для славянства Карпатские горы всегда были природной твердыней, крепкой и надежной опорой в борьбе с иноплеменниками.

Карпатский перевал служил, как мы сказали, сухопутной дорогой из нашей страны, собственно, в Европу. Он в восточной половине искони заселен был русским племенем и посредством двух больших речных путей к Балтийскому морю, по Висле и Одере, связывал интересы Черноморья с Варяжским морем. По многим намекам истории видно, что на Балтийском Поморье в иных случаях хорошо знали, что происходило на Черном, а на Черном море тоже хорошо знали, что и на Балтийском Поморье живут родные люди. Вообще, владея Карпатским перевалом, русский Днестровский и Днепровский юг должен был иметь хорошие сведения об этом славянском Поморье, а Поморье, со своей стороны, не могло не знать Балтийской дороги к нашему русскому северу.

Славянская жизнь, таким образом, особенно во времена так называемого *Великого переселения народов*, много ли, мало ли, но двигалась вокруг и по нашей равнине, от Карпат Вислой и Одером в Балтийское море, оттуда в Неман, в Двину, в Неву, на Волхов и Ильмень, а с Ильменя в Днепр на Черное море и к тому же Карпатскому хребту.

Северная половина Русской страны по течению рек распределяется, собственно, на две области. В западном ее углу все реки текут к северу, отчасти в Балтийское море, отчасти в Финский залив и Ладожское озеро и на дальнем севере – в Белое море. Это область больших озер и морских заливов. Здесь уже в IX веке славянское население сосредоточивалось в особую силу на озере Ильмень, в срединном месте всего края, если отделить от него Беломорскую сторону, которая составляла только его промышленный придаток, как бы отхожую пустошь. Озеро Ильмень, по-южному Лиман, служит в действительности лиманом или широким устьем для множества рек. Одному летописцу старые люди сказывали, что в Ильмень течет 300 рек. Естественно, что все эти реки, протекавшие к одному устью, связали и само население в одно целое, которое как племя носило собственное имя славян. А если имя славяне, как очень вероятно, прежде всего показалось на западе вместе с именем немец-германец – в той стране, где славяне, гранича с немцами, хотели себя обозначить «словесными», в противоположность «немым» – немцам, то это обстоятельство может указывать если не в полной мере, то весьма значительной долей на западное происхождение новгородского славянства, именно с Венедского Птоломеева залива – от устьев Одера и Вислы, отчего соседние чудь-эстонцы и до сих пор называют русских виндлайнэ, венелайнэ. Поморских славян, конечно, занесла в нашу страну торговля меховым товаром. Несомненно, что они

первые при помощи нашего славянства открыли путь «из варяг в греки». Когда это случилось, история не помнит, но вероятное соображение всегда останется на стороне того предположения, что одноплеменникам пролагать путь по своей же земле было естественнее, чем пускать по ней чужой народ – готов или норманнов. Во всяком случае, это совершилось еще задолго до известного начала нашей истории, о чем подробнее мы будем говорить в другом месте.

Итак, Ильменская область вместе с областью кривичей, живших наверху Западной Двины, тянула больше всего в Балтийское море и, стало быть, на запад, в Европу. Однако этот путь в Европу был так крив и обходист, что никак не мог принести нам той пользы, какую следовало бы ожидать. Вернее сказать, это было из нашей страны волоковое окно в европейскую сторону, сквозь которое стесненным путем и проходили наши связи с европейским миром. Впоследствии это окно было совсем даже закрыто, заколочено европейскими врагами.

Но надо сказать, что это окно потому и существовало, потому и возродилось на этом месте, что в нем имело нужду больше всего европейское побережье Балтийского и Немецкого¹⁵ морей. Ильменские славяне в этом случае были только посредниками торговли между европейским севером и внутренними областями нашей страны. Притом в Старой Ладогге, древнейшем поселении наших славян у входа в Балтийское море, и в Новгороде, который, быть может, был только Новой Ладогой, европейцы, по крайней мере скандинавы, получали не одни меха: сюда привозились греческие и восточные товары, особенно дорогие цветные ткани, шелковые, золотые, шерстяные, и различные индийские пряности, которые на дальнем европейском севере представляли вообще большую редкость. В Новгороде такие товары могли появляться только посредством его сношений по Волге с далеким востоком, а по Днепру с греческими городами, по крайней мере с Византией.

Поэтому открытие пути «из варяг в греки» по Днепру нужно относить к очень давнему времени, ибо в VI веке по всем признакам он, несомненно, уже существовал. Отсюда становится очень понятной необыкновенно тесная связь Новгорода с Киевом, которой прямо открывается наша история еще при Рюрике. Отстранив ученые предрассудки о том, что не только торговле, но и всему нас научили варяги-скандинавы, мы на основании разнородных свидетельств древности легко можем сообразить, что этот путь впервые был проложен и проторен, как привычная тропа, никем другим, как самими же славянами, жившими по сторонам этого пути. Они первые повезли и свои, и греческие, и восточные товары на потребу бедному скандинавскому северу и, конечно, первые рассказали варягам-норманнам, сюда явившимся, что пройти здесь можно, и очень легко.

Греческий путь по Нижнему Днепру известен был еще Геродоту, писавшему свою историю за 450 лет до Р.Х. Можем полагать, что и тогда уже существовало на Днепре, в Киевской стороне, какое-либо средоточие для обмена греческих произведений на туземные товары, так как Геродот прямо и точно говорит, что здешние туземцы торговали хлебом. Был ли то Киев или другой какой город, это все равно. Но Киев, находясь, так сказать, на устье множества рек, впадающих перед ним в Днепр, составляя узел для всего днепровского семейства рек, должен был возникнуть сам собой, по одним естественным причинам, как складочное место для Днепровского севера, смотревшего отсюда прямо на греческий юг, ибо здесь Днепр делился как бы пополам между севером и югом. Киев, таким образом, был создан потребностями и нуждами северной стороны, которая, кроме других предметов, прежде всего нуждалась в хлебе, так как в хлебе же нуждались и греческие черноморские города. Киев зародился на границе леса и поля и потому всегда служил сердцем для отношений славянского севера и греческого юга. Когда в этом сердце затрепетала народная жизнь,

¹⁵ Совр. Северное море. (Примеч. ред.)

то, естественно, что к нему потянулся и Ильменский край, и дорога из Черного моря в Балтийское проложила сама собой, без всякой указки со стороны какого бы то ни было чужого народа. Прямее всего дорога лежала по Западной Двине в Березину, а также и по Неману через Вилию в ту же Березину и оттуда уже в Днепр. Так и было в самом начале, когда Березина почиталась Верхним Днепром и давала всему Днепру имя Борисфена. Это было во времена Геродота. Но во времена Птолемея, в середине II века по Р.Х., то есть спустя 600 лет после Геродота, открывается и настоящий Днепр, текущий с Волжской возвышенности. Это означало, что по крайней мере с этого уже времени открылся и сам путь «из варяг в греки», то есть путь от Ильменской стороны, который после, несмотря на кривизну и дальний обход, перед Березинским путем получает преобладающее значение. А это, со своей стороны, может свидетельствовать, что Ильменская страна была способнее вести мирное дело торговых оборотов – по той, конечно, причине, что ее стал населять промышленный славянский народ, пришедший на озера и в непроходимые болота не столько для земледелия, сколько для торгового и всякого другого промысла. Этот народ мог двигаться сюда не иначе как с Днепровских притоков, но, судя по имени славян, он мог получить значительное приращение, как мы сказали, и из-за моря, со славянского Поморья между Лабой, Одером и Вислой.

Новгород, подобно Киеву, также стоит на устье многих рек и является таким же узлом для этих рек, текущих от Днепровской стороны к северу. Эти две речные области отделяются друг от друга только Волоковским лесом, Алаунской возвышенностью, на которой и господствовало от древнейших времен наше северное славянство.

Отсюда ему открывалась новая дорога прямо на восток, по руслу Волги. Естественно, что и по этой дороге русское славянство начало свои пути тоже в очень отдаленное время. Оно двигалось по этому пути и сверху, из леса Волхов, или Волоков, и с южного бока – от Днепровской Десны прямо по Оке, стало быть, прямо к Средней Волге. Течение Оки до ее впадения в Волгу равняется течению до того же места самой Волги. В этом углу между двумя потоками Оки и Волги очень рано образовалась область Ростовская, которая своим именем Ростов показывает, однако, большое родство с днепровской Росью и ее притоком Ростовицей, по чему можно заключить, что и само имя рось, росса в древнее время тоже произносилось как рост. Можно гадать, что Ростов приволжский получил начало еще в то время, когда по всей нашей стране господствовало имя роксолан, которые если хаживали на самих римлян за Дунай, то также могли ходить и на север к ростовской Волге.

Как бы ни было, но русло Волги и русло Оки с незапамятных времен сделались поприщем для славянской предприимчивости, пробивавшейся по этой широкой дороге дальше к востоку. В начале нашей истории руссы были уже свои люди в Волжской Болгарии, близ устья Камы, были свои люди и в далекой Астрахани, в устьях Волги, на Каспийском море.

Есть соображение, что дорога в Каспийское море с глубокого севера существовала еще при Александре Македонском. Тогда было известно, что из Каспийского моря можно проплыть узким проливом в Северный океан, который по тогдашним понятиям начинался от Балтийского побережья. Это была географическая ошибка, возникшая, однако, не без причины, а именно потому, что таким путем по Волге-Каме, по всей вероятности, на самом деле проходили в северные моря.

Стоит только побывать на Волге, чтобы увидеть, что промышленные силы народа нигде не могли найти лучшего и способнейшего места для своих действий. Природа здесь хотя и не столько благодатная, как на Днестровском, Днепровском и Донском юге, но вполне обеспечивающая всякий труд, частью даже земледельческий и особенно промысловый. Естественные богатства всего края – самые разнообразные, начиная от лыка и оканчивая железом, а при этом открытые во все стороны пути сообщения по бесчисленным речным

системам, доставлявшие скорую возможность сбыта, ожидали только рабочих и сметливых рук, которые и явились со стороны Оки и со стороны Верхней Волги.

Таким образом, в очень давнюю пору здесь произошло смешение племен русского славянства самих по себе, а также с финскими племенами веси, мери, муромы, мещеры в одно новое племя, которое впоследствии стало именоваться великорусским. Пришедшие сюда вятичи с Оки и радимичи от Сожа, кривичи с Верхнего Днепра и славяне-новгородцы от Ильменской стороны слились в один народ, превративший мало-помалу все финское население страны в чистое славянство. Они пришли сюда кормиться работой. А так как и в здешних местах на земледелие надежда была невелика, не то что на юге, в поле, то весь их смысл устремился на различную обработку всяких других земных даров и всего того, что только было необходимо населению близкого и далекого Поволжья. По этой причине с незапамятного времени здесь явились целыми деревнями и даже целыми городами плотники, каменщики, кузнецы, кожевники, ткачи, лапотники, сапожники, мельники, коробейники или сундучники, огородники, садовники и т. д. Словом сказать, здесь для русского славянства образовалась сама собой как бы особая ремесленная и промышленная школа, где были бы способные руки, а выучиться было можно всему на свете. Естественно, что накопленный товар, как и накопленное знание всякого мастерства и ремесла, требовал разноски и распространения их по всем местам, где что понадобилось. Отсюда сама собой возникала торговая предприимчивость и странствование за работой рабочих артелей и за товаром, и с товаром купецких артелей, так что население становилось по необходимости кочевым, по крайней мере в смысле постоянного ухода на промысел, на торг, на работу.

Особая подвижность и предприимчивость жизни на мирном поприще промысла и работы развивала в здешнем народе не только особую ловкость и сметливость во всяких делах, но и особую потребность в житейском порядке и в правильном устройстве хозяйства, без чего и на самом деле ни торг, ни промысел и никакая работа идти не могли.

Вот по каким причинам далекая Суздальская сторона в нашей земле и в нашей истории очень рано безо всяких воинственных походов и завоеваний становится очень сильной, господствует над остальными княжествами, а потом втягивает в свое русло и всю историю Русской страны. Сила Суздальской земли была силой промысла и работы, а стало быть, и силой устроенного хозяйства. Ее победы над остальными силами земли были победами рабочего, промышленного и торгового плеча над владычеством исключительно военно-дружинных порядков, установленных больше всего силой одного меча и мало заботившихся об устройстве прочного хозяйства не для себя только, но и для всего народа.

Таким образом, этот сравнительно невеликий угол между Окой и Волгой сам собой возродился в великую земскую и государственную силу всей Русской земли, стал ее настоящим сердцем, от которого сделались зависимыми и все другие близкие и далекие края Руси. Все политические победы этого угла совершились только потому, что была велика его промышленная способность и сила.

Рядом с Суздальской страной в незапамятное тоже время образовалось народное славянское средоточие на перевале из Средней Оки к Верхнему Дону. Это была Рязанская земля, очень плодородная и богатая всеми теми дарами природы, каких искони требовал в древнее время Боспорский греческий юг, а впоследствии генуэзская торговля, по чему мы можем гадать, что существование в этом краю всякого промысла принадлежит к самым давним временам, о которых история оставила нам одни только намеки.

От впадения Оки Волга продолжает свое течение дальше на восток до самого впадения Камы. Там она круто поворачивает к югу, отдаваясь направлению Камы, которая течет прямо от севера. Кама – такая река, что во многом поспорит с Волгой. Она гораздо полноводнее Волги, течет быстрее Волги, вода в ней чище и лучше волжской, оттого и ее рыба предпочитается волжской. Все это приводит к тому, что неизвестно, Волга ли течет

дальше впадения Камы, или это сама Кама, текущая по собственному направлению от севера на юг, в которую Волга впадает почти под прямым углом с запада. Это тем более сомнительно, что отсюда начинается совсем иной мир жизни, более соответствующий Камской области, чем Волжской, от ее истоков. В древние времена особенно каспийские жители Нижнюю Волгу почитали продолжением течения Камы. У них на это были еще и те доводы, что вверху Камы, поблизости Урала, тогда существовала весьма богатая и промышленная страна, известная впоследствии, в IX веке, под именем *Биармии*, *Перми*, которая вела с прикаспийскими восточными землями весьма деятельный торг. Еще Геродот за 450 лет до Р.Х. рассказывал об этой стране чудеса. В то время сюда направлялся греческий торговый путь за золотом. Геродот прямо говорит, что золото получалось с севера, отсюда. Здесь где-то чудовища-грифы стерегли это золото. Конечно, это был только главнейший товар, наряду с которым вывозились и другие металлы, а также дорогие камни и вместе с тем дорогие меха. Вот предметы, привлекавшие сюда еще античный мир. И естественно, что с того времени нужно считать и начало здешней промышленности, именно горной, оставившей в Уральских горах очень заметные памятники своих работ при добывании металлов, как и многочисленные памятники своих жилищ по течению Камы и по Уральским ее притокам. Геродот знал здешний народ – иссидонов; имя этого народа, по всей вероятности, сохраняется доселе в имени реки Исеть, текущей с Уральских гор к востоку в реку Тобол, от того самого места в горах, где берет начало река Чусовая, текущая на запад и впадающая в Каму повыше теперешней Перми. Здесь по этим обеим рекам и существовало промышленное сообщение Европы с Азией.

Царство здешнего промысла распространялось на все течение Камы и, несомненно, притягивало к себе и Верхнюю Волгу, отчего вблизи впадения Камы с давнего времени устроилось тоже очень промышленное население, впоследствии царство Болгарское¹⁶, явившееся, вероятно, наследником древнейшего приуральского промысла. Можно полагать, что при Геродоте греческий путь к Уралу от греческого города Ольвии, в устье Днепра, пролегал по Днепру на Киев, потом по Десне и по Оке на Волгу и до устья Камы. Геродот, вообще, как купец, не рассказывает, по каким местам в нашей стране шла эта дорога, но говорит, что ходившие по ней скифы и греки имели семь переводчиков для семи языков, живших по дороге. Этот днепровский путь мог существовать независимо от греческой же дороги из Боспора Киммерийского по Дону до Царицынского перевала в Волгу, где, по Геродоту, существовал богатый деревянный город Гелон. Геродот недаром же знал народ чернокафтанников, живший в полосе Чернигова, Курска и Воронежа, следовательно, и в Рязанской области. Эти знакомые Геродоту чернокафтанники могут также указывать, что существовал и еще путь вверх по течению Дона на перевал через Рязанскую область в рязанскую и муромскую Оку. Что этот путь существовал по крайней мере в половине II века по Р.Х., на это, как увидим, есть довольно ясные показания.

Если все это было так, то верхние земледельческие скифы – днепровские славяне – еще тогда начали заселять область Оки и двигаться к нижегородской Волге. Мы увидим, что в подтверждение этому у Геродота существует особое, весьма важное свидетельство.

Так было или иначе, но достоверно только одно, что почти за пять веков до Р.Х. по нашей стране от Днепра и Дона проходила торговая дорога к уральским горным богатствам, которая по естественным причинам должна была многому научить здешнее население и вызвать в нем, хоть в малой мере, тот же предприимчивый и торговый дух, какой проносился здесь караванами из греческих черноморских городов.

¹⁶ Имеется в виду Волжская Булгария. Этот народ автор называет и булгарами, и болгарями, полагая, что древние булгары, как и современные болгары, были славяне. Современная наука считает булгар тюрками, часть из которых на Дунае была ассимилирована славянами. (*Примеч. ред.*)

История Камской приуральской торговой и промышленной области совсем неизвестна. Ничего не знаем, как она существовала, когда была у нее самая цветущая пора и каким образом она опустела, передав, по-видимому, свое промышленное наследство волжским болгарам. Должно полагать, что древний уральский горный промысел, а с ним и промышленная жизнь Приуральской страны упали еще в то время, как прекратились туда прямые торговые пути с берегов Черноморья. Нет сомнения, что направления этих путей поколебали уже походы на восток Александра Македонского, отворившего для Европы широкие двери в Азию не к одному золоту.

От впадения Камы, поворачив круто на юг, Волга уносила промышленную и торговую жизнь севера прямо в Каспийское море, где на ее устье искони веков существовал узел, связывавший интересы европейского севера и азиатского востока. Около Р.Х. здесь господствовали аорсы, которые жили именно при устье Волги, простираясь своими жилищами до самого Дона. Кто такие были эти аорсы, или аланорсы, по-видимому, близкая родня роксоланам, это мы будем угадывать в другом месте. Заметим только, что эти аорсы и тогда уже торговали с Мидией и Вавилонией, получая оттуда товары на верблюдах. Эта торговля началась, по всей вероятности, гораздо раньше; она существовала еще при владычестве древних персов, ибо Геродот знал Каспийское море лучше всех географов древности и оставил даже очень верное его измерение, а это свидетельствует, что тогда уже торговые люди ходили по этому морю вдоль и поперек. Точно так же и спустя многие столетия после аорсов эта торговля деятельно велась при владычестве арабов, особенно в VIII–IX столетиях, когда устьем Волги владели хазары. Таким образом, в продолжение по крайней мере целого тысячелетия до начала нашей истории устье Волги тянет к себе весь наш север и юг, требуя от них надобного товара и отпуская им взамен товары азиатских стран.

Глава II. Откуда идет Русское имя?

Норманнство и славянство Руси. – Имя Руси идет от варягов-скандинавов. – История этого мнения. – В каком виде оно представляет себе начало русской истории и исторические свойства русской народности? – Русские академики в борьбе с мнениями немецкими. – Замечание императрицы Екатерины II. – Сомнения немецких ученых. – Карамзинское время. – Торжество учения о норманнстве Руси. – Его основа – отрицание

Еще в конце тридцатых годов прошлого столетия один из даровитейших исследователей русской и славянской древности, карпаторосс Венелин, писал между прочим: «И доселе не знают, с какой Руси начинать русскую историю».

С тех пор прошло уже 70 лет, но эти слова Венелина не совсем потеряли свой правдивый смысл и в настоящее время. Несмотря на господствующее теперь мнение, что Русь¹⁷ происходит от норманнов, время от времени появляются новые решения этого спорного вопроса, и каждый изыскатель, входящий в подробности дела, всегда выносит если и не вполне новую мысль, то, по крайней мере, какое-либо свое, особое, новое толкование хотя бы и очень старых суждений о том же предмете. Трудно перечислить все оттенки таких суждений и толкований. Большинство исследователей, и самых деятельных, как прежде, так и в настоящее время, становится на сторону норманнского происхождения Руси. Норманнское мнение основано, утверждено и распространено немецкими учеными, славные авторитеты которых сами собой способны придать высокую цену каждому их мнению. Большинство, естественно, принимает на веру последнее слово науки; а наука, и притом в немецкой обработке, твердит это слово более полутора столетия. Есть ли рассудительная причина и возможность не верить ему?

На этом основании мнение о норманнстве Руси поступило даже посредством учебников в общий оборот народного образования. Мы давно уже заучиваем наизусть эту истину как непогрешимый догмат.

И, несмотря на это, все-таки являются сомнения. В течение тех же полутора столетий проходят рядом с принятой истиной противоречия ей, возникают споры, поднимаются опровержения этого непогрешимого вывода науки, показывающие вообще, что основания его слабы и что нет в нем настоящей истины. Эти споры то утихают, то поднимаются снова, с большим или меньшим оживлением, и каждый раз с новыми видоизменениями заветного вопроса.

При всем разнообразии мнений спорящие распадаются, собственно, на два лагеря. Одни, по преимуществу немецкие ученые и их русские ученики, утверждают, что русь пришла от норманнов, и затем в разногласиях между собой отыскивают ее всюду, только не у славян. Другие утверждают, что русь – славянское племя, туземное, искони жившее на своем русском месте, или отыскивают ее все-таки у славян на Балтийском Поморье. Руководителем первого мнения можно признать Шлецера, достославного европейского исторического критика, установившего правильный способ для исследования подобных вопросов и указавшего истинный путь к ученой обработке истории вообще. Очень понятно, что исследования этой стороны в общем характере отличаются всеми качествами шлецеровского способа изысканий: строгой и разносторонней критикой источников, обширной начитанностью,

¹⁷ Дореволюционная орфография допускает языковую игру: не разграничивать племя и страну (Русь в обоих значениях писалась с прописной буквы). Мы вынуждены разграничить эти понятия, где это возможно. (Примеч. ред.)

большим знакомством с литературой предмета. Одним словом, на этой стороне господствует полная, хотя и очень односторонняя ученость, по справедливости вполне сознающая свою ученую высоту. По этим свойствам изыскательности, как и по существу воззрений на предмет, эту школу, вернее всего, можно именовать не норманнской, а чисто немецкой.

На другой стороне если не прямым руководителем, то полнейшим выразителем всех ее достоинств и недостатков может почитаться незабвенный Венелин. На это дает ему право сам объем его трудов (хотя по большей части только черновых), а главное – множество затронутых им вопросов, возбужденных именно только славянской точкой зрения на предмет. К исследованиям Венелина примыкают, с одной стороны, чрезмерное сомнение в лице так называемой скептической школы Каченовского, родственной по отрицательному направлению своих воззрений с немецкой школой; а с другой стороны – чрезмерное легковерие Морошкина, Вельмана и др., достигающее уже полного баснословия. Но все писатели этого венелинского круга согласны в одном, что Русь самобытна, что варяги были балтийские славяне. На этом основании мы можем справедливо именовать эту школу по преимуществу славянской.

Достоинства критики Венелина заключаются в простом здравом смысле, который он всюду ставит как надежного противника всяким, особенно застарелым, ученым предрассудкам. Но это основное начало его исследовательности так увлекло его, что он вовсе забывал в ученом рассуждении цену точных и полных доказательств, цену свидетельских показаний, критически разобранных и осмотренных со всех сторон. В то время как шлецеровская критика, проводя впереди всего точные свидетельства и тексты, отдавала дело как бы на суд самому читателю, венелинская критика мало заботилась о точных текстах и на основании только здравых рассуждений впереди всего ставила свои решения. За немногими исключениями тем же характером исследовательности отличаются труды и всех других писателей славянской школы. Вот главнейшая причина, почему даже весьма здравые и очень верные заключения такой критики не пролагали в науке никакого следа, не производили никакого влияния на разрешение частных вопросов и оставались вовсе не замеченными ученой изыскательностью.

К тому же пренебрежение к ученой обработке свидетельств открывало широкий и вольный простор для фантазии, которая здесь самоуправно господствовала взамен строгой и осторожной мысли, какой по преимуществу отличалась работа в немецкой школе. Само собой разумеется, что и полное вооружение немецкой учености не спасало немецкую школу от набегов той же фантазии, а в иных случаях приводило даже к таким выводам, где, по выражению Шафарика, заходил ум за разум. Но, во всяком случае, очень заметное отсутствие не одних внешних приемов надлежащей учености, а именно их внутреннего содержания, то есть отсутствие критической обработки источников, низводило всякий труд этой славянской школы на уровень праздных и ни к чему не ведущих рассуждений, любопытных только по игре различных фантастических соображений.

Таков в существенных чертах характер исследований славянской школы, или, по крайней мере, в таком виде он представляется ее противникам.

Действительно, ссылаясь еще со времен Ломоносова на древних роксолан как на предков позднейших руссов, славянская школа даже и до настоящих дней, говоря то же самое о роксоланах, не позаботилась обследовать этот вопрос в надлежащей полноте и с той строгостью в критике, какой требует уже само время. В других случаях, доказывая, также со времен Ломоносова, что варяги-русь были балтийские славяне и оттуда же призваны и первые наши князья, славянская школа точно так же нисколько не позаботилась подтвердить свои соображения подробным и полным исследованием истории балтийских славян исключительно с этой точки зрения в уровень скандинавству.

Не говорим о других, не менее важных вопросах, обработка которых могла бы служить твердым основанием для славянских, то есть русских, воззрений на русскую историю и могла бы в действительности поколебать и совсем упразднить действие норманнских или немецких воззрений.

Оказывается, таким образом, что у славянской школы нет под ногами ученой почвы. Она до сих пор должна носиться в облаках, в области одних только здравых рассуждений и соображений, чем она особенно и сильна. Но известно, что всякое здоровое рассуждение утверждается тоже на свидетельствах и вполне зависит от их количества и качества. Можно очень здраво судить, опираясь на двух первых свидетелей, но приходит третий, четвертый и т. д., и дело получает совсем иное освещение; здравый рассудок невольно переходит на другую, иной раз совсем на противоположную сторону. Так часто бывает в житейских делах, так отыскивается истина и в ученых исследованиях. Отсутствие ученой почвы ставит славянскую школу в очень невыгодное положение перед ученым норманнством, которое поэтому имеет полнейшее основание говорить, что «антинорманнисты до сих пор чуть ли не все без исключения слишком легко принимались за дело. У одних недоставало знакомства с современной лингвистикой, без которой нельзя здесь приобрести твердой точки отправления. Другие, столь же мало знакомые с методой исторической критики, развивали субъективные мнения, не заботясь о времени и местности источников и о положении, в каком старинные писатели заносили в письменные памятники свои известия и свидетельства. Мы уже не придаем особенного веса тому, что нередко брались за дело люди, не знавшие и половины всех относящихся сюда источников или не имевшие никакого понятия о сравнительном изучении средневековых народов...»¹⁸.

В недавнее время норманнское мнение потерпело, однако, весьма сильное поражение со стороны исследований г. Гедеонова¹⁹. Не то чтобы автор вносил в науку что-либо совсем новое, небывалое и оригинальное, в существенных чертах он утверждает старые мнения, которые давно уже высказывались. Он утверждает, что варяги были прибалтийские славяне, что русь была «искони особым восточнославянским народом». Как известно, эти мнения очень не новы. Но в исследованиях г. Гедеонова очень ново и совсем неожиданно для защитников норманнства Руси явилось то обстоятельство, что автор предстал перед немецкой школой во всеоружии здоровой и вполне ученой критики, с такой обработкой вопроса, которая своей ученостью затмевает даже и многие труды его противников. До сих пор мнение о норманнстве, как мы говорили, тем особенно и высилось, что всегда было устанавливаемо и защищаемо только на твердом основании вполне ученых изысканий. В его руках находилась наука в собственном смысле. Теперь исследования Гедеонова впервые кладут прочное и во всех отношениях очень веское основание для старинного мнения о славянстве руси.

Мы уверены, что они прольют много света на темный и вполне затемняемый норманнским учением вопрос о нашей древности, установят правильное понятие о наших древнейших отношениях к скандинавам и неизменно поколеблют в самом основании скандинавское учение, господствующее только по причине совершенного устранения из нашей истории сведений о балтийском славянстве²⁰.

По направлению Гедеонова, хотя и по другой дороге, идет г. Иловайский, излагающий свои заключения в более популярной, а потому и менее ученой форме. Он утверждает также, что русь было туземное славянское племя, но варяги были племя иноземное, норманнское. Существенная черта его изысканий и возражений норманнству – это решающий, догматиче-

¹⁸ Гедеонов С. Отрывки из исследований о варяжском вопросе / Предисловие Г. Куника. – СПб., 1862. – С. 4.

¹⁹ Гедеонов С. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Приложение к I, II и III томам «Записок Имперской Академии наук». – СПб., 1862–1863.

²⁰ Впоследствии, в 1876 г., исследования Гедеонова изданы особо в двух частях под заглавием «Варяги и русь». (СПб., 1876.)

ский их характер, который устраняет, как излишнее бремя, точные и полные доказательства, то есть критику источников и постановку на свои места подлинных свидетельств²¹.

Но если не силой шлецеровской критики, то силой очень многих, весьма основательных соображений и заключений исследование г. Иловайского точно так же достаточно колеблет состарившееся немецкое мнение о происхождении руси из Скандинавии.

Таким образом, и в наше время снова пробудились те же самые споры и даже те же суждения, какими была богата наша историческая литература в тридцатых и сороковых годах. Это добрый знак, свидетельствующий, что накопленные наукой и рассудком сомнения в норманнском учении требуют своего исхода и нового, более вероятного и правдивого решения этой задачи.

Само собой разумеется, что изыскатель русской древности, желая объяснить себе начало Руси, то есть собственно начало русской исторической жизни, пускаясь в открытое море стольких разнородных мнений об этом начале, сам по необходимости должен плыть, так сказать, по звездам, наблюдая больше всего береговые приметы, какие, на его взгляд, правдивее выдвигаются из неясного материка исторической истины. Поэтому и наши мнения о происхождении руси, которые здесь предложим, будут направлены в ту сторону, где нам видится в этой области вероятностей, догадок и предположений наиболее правильная и прямая дорога к истине.

Казалось бы, что вопрос о происхождении руси есть вопрос одного любопытства, чисто этимологический и антикварный, то есть настолько частный и мелочный, что им ничего собственно исторического разрешено быть не может. В самом деле, не все ли равно, откуда бы ни пришла к нам эта прославленная русь, если весь ее подвиг ограничился принесением одного имени; если она с самых первых времен не обнаружила никакого особого самобытного влияния на нашу жизнь и распустилась в этой жизни, как капля в море; если, наконец, принесенное ею влияние было так незначительно, что не может равняться ни с каким другим иноземным влиянием, какие всегда бывают у всякой народности.

Но дело вот в чем: мифическая русь представляется первоначальным *организатором* нашей жизни, представляется именно в смысле этого организаторства племенем *господствующим*, которое дало первое движение нашей истории, первое устройство будущему государству и вдохнуло в нас дух исторического развития. Если исторически это еще сомнительно, то логически должно быть так непременно. Кого призвали для установления в земле порядка, тот, конечно, и должен был устроить этот порядок. Поэтому и сам вопрос о происхождении Руси очень справедливо ставится на высоту вопроса «об основной, начальной организации Русского государства». Очень естественно, что в этом случае споры идут вовсе не о словах и не об антикварных положениях, прозвалась ли Русь от шведских лодочных гребцов родсов, или от греческого слова русый, рыжий, или от древнего народного имени роксолан и т. д. Здесь, напротив того, сталкиваются друг с другом целые системы исторических понятий или ученых и даже национальных убеждений и предубеждений.

С одной стороны, еще господствуют взгляды, по которым начало и ход народного развития обыкновенно приписываются механическому действию случая, произволу судьбы и вообще причинам, падающим прямо с неба. Для этих взглядов норманнское происхождение Руси ясно как божий день; оно не только оправдывает, но и вполне подтверждает

²¹ Так, самое важнейшее, но очень темное и двусмысленное свидетельство византийского летописца Феофана о местожительстве древних булгар, по которому выходит, что Волга сливается с Доном и из этого слияния образует реку Кубань, и на котором главным образом автор основывает свое мнение о древней родине славян-булгар, черных булгар дунайских, приводится им без особого критического объяснения, только с заметкой, что в нем географические сведения очень сбивчивы (Русский архив. — 1874. — № 7. — С. 80). Нам кажется, что это свидетельство, как и множество других, на которые опираются в своих спорах противники норманнства, требовало бы всесторонней критики и полного утверждения, какую несомненную правду должно в нем понимать, ибо его можно толковать совсем иначе, нежели объясняет уважаемый автор, о чем мы будем говорить в другом месте.

такую систему исторических воззрений. С другой стороны, эти же самые взгляды легко и вполне удовлетворяются разбором и расследованием одних только слов и имен. Они утверждают, что главное дело в разрешении этого вопроса – *лингвистика*, «без которой здесь нельзя приобрести твердой точки отправления». Стало быть, они сами сознают, что весь вопрос в словах, в именах, что само дело, то есть бытовая почва исторической жизни, здесь предмет сторонний, употребляемый только при случае на подпору слов, даже одних букв. Однако надо согласиться, что как ни велика сила лингвистики, но в исторических исследованиях она не единственная сила. В истории необходимо прежде всего и главнее всего стоять твердо и крепко на земле, то есть на бытовой почве. Для обработки этой почвы лингвистика, конечно, важнейшее орудие. Но поставленное на первое место перед всеми другими средствами добывать историческую истину, это великое орудие становится великим препятствием к познанию истины, ибо оно по самим свойствам своей исследовательности всегда очень способно унести нашу мысль в облака, переселить ее в область фантазмагорий. При том если мы и самым строгим путем лингвистики с полнейшей достоверностью докажем, что русь-варяги по имени были шведы, то все еще останется самое главное: надо будет доказать, по каким причинам на Руси от этих шведов-норманнов не сохранилось никакого ни прямого, ни косвенного наследства.

Такое явление, как пришествие к народу чужого племени со значением организаторства, вдобавок по добровольному призыву, есть прежде всего великое *дело* истории того народа, дело всей его жизни. Необходимо, стало быть, рассмотреть его не как *слово*, а как *дело*, с теми зародышами, откуда оно взялось, и с теми последствиями, какие от него родились тоже под видом всяческих дел.

Это тем более необходимо, что немецкая школа представляет себе русское славянство пустым местом, где лишь с той минуты, как пришли норманны, и только с этого самого времени стало появляться все такое, чем обозначается зарождение народной истории. Вероятно ли это? Не указывает ли сам призыв варягов, что история народа совершила уже известный круг развития, известное колено своего роста и перешла к другому? Нам кажется, что чудная мысль о пустом месте славянства может крепко держаться лишь в то время, когда наука занимается только критикой слов и вовсе не обращает внимания на критику дел.

Нам говорят, что Русь получила свое имя от варягов. Это говорит, прежде всего, первый наш летописец, пытавшийся объяснить себе именно тот вопрос, откуда пошла Русская земля, так точно, как он пытался объяснить себе, откуда и как появился на Руси город Киев. На самом деле он ничего не знал ни о происхождении Руси, ни о происхождении Киева и записывал в свою летопись или предания, или соображения, ходившие в тогдашних умных и пытливых головах. Важнее всего то, что он свои объяснения о начале города и народного имени начинает с пустого места, то есть следует тому историческому приему, какой носился у него перед глазами по случаю его короткого знакомства с библейской историей.

Земля была не устроена, каждый жил по себе, особо, на своих местах, иные в лесах, как всякий зверь. Земля платит дань, на севере варягам, на юге хазарам, то есть находится в зависимости у этих двух народов. Наконец северные люди варягов прогоняют за море, и неустройство земли обнаруживается в полной силе.

Однако народный земский ум добирается до того, что опять зовет к себе варягов и отдает им в руки свое земское устройство. Варяги приходят – и начинается историческое творчество. Прежде всего они приносят имя земле. Откуда же оно могло взяться, когда земля до того времени была не устроена, разбита на особые части, не была народом и потому, конечно, не могла иметь одного, народного имени. Ее соединяют в одно целое варяги, ясно, что от них она приобретает и одно общее имя.

Так представлялось это дело умам, которые еще по живым следам хорошо помнили заслуги варягов в событиях первых двухсот лет нашей истории. Тогда по справедливости

могло казаться, что все зависело от варягов, что все сделали варяги, как нам и теперь кажется, что со времени петровского преобразования все у нас делали иностранцы и все зависело от иностранцев.

Особенно так это казалось потомкам тех варягов, которые в лице 90-летнего старца Яна участвовали даже в составлении нашей первоначальной летописи. Они были народ грамотный или, по крайней мере, знающий, опытный, помнивший старину и соображавший, как могло быть дело.

Если начались вопросы о том, откуда что пошло, откуда пошла Русь, кто стал первый княжить и т. д., то это показывало, что общество стало мыслить, рассуждать, разбирать, допытываться, заниматься, так сказать, наукой. Оно и объяснило все эти вопросы сообразно своим преданиям и познаниям или догадкам, какие были тогда в ходу и какие было естественнее тогда соображать.

Еще Шлецер своей критикой достаточно раскрыл, а теперь г. Геденов вполне подтвердил, что наш Нестор был не простой наивный изобразитель *лет* своего времени, а именно писатель, усвоивший себе по византийским образцам некоторые научные, критические приемы, дававший себе критический отчет в своих сказаниях и вообще показавший в своем летописном труде некоторого рода ученую работу. Одно уже то, что первые страницы своей летописи он обработал по византийским источникам, выводит его из ряда простых доморощенных сказителей о том, как что было и как что произошло и случилось. В этих страницах он является прямым изыскателем, а не простым описателем лет.

Имя Руси он с величайшей радостью, о чем засвидетельствовал даже сам Шлецер, в первый раз открывает в греческом летописании и на этом основании довольно ученым способом распределяет свои первые года, о которых Шлецер прямо так и отзывается, что они есть не что иное, как *ученое вранье*. Никаких варяжских свидетельств Нестор под рукой не имеет, а между тем прямо говорит, что это имя принесли с собой варяги.

Очевидно, что он говорит или одну догадку, сочиненную книжными умниками того века, или записывает ходячее предание, которое исстари носилось во всех умах.

Он с радостью восклицает: «Начал Михаил в Царьграде царствовать и начала прозываться Русская земля, и что отсюда-то начнет и года положит»; а потом говорит, что Русь прозвалась от варягов. Откуда же почерпнул он это новое сведение, которого прежде не знал? Можно думать, что из главного своего источника, из того же греческого летописания. В византийской хронографии он прочел о походе на Царьград Игоря в 941 году, где сказано: «Идут русь – глаголемии от рода варяжска». Очень ясно, говорит Шлецер, что это занято из продолжателя Амартоловой хроники, который толкует, что русь называлась дромитами²² и происходит от франков.

При этом Шлецер делает весьма примечательную заметку: «Смешно, что русс (Нестор) узнает от византийца о происхождении собственного своего народа. С дромитами он не знал, что делать, потому и выпустил их (в своей летописи), а франка и варяга по единозвучию счел за одно».

Но откуда же русс мог узнать о происхождении своего народа, когда и первые сведения о Руси он взял у византийца же? Руссу оставалось только слить в одно эти два свидетельства, и он, быть может, хорошо понимая, в чем дело, сообразил, что это будут варяги-русь. Вот начальный источник настойчивых уверений Нестора, что от варягов прозвались мы Русью, а прежде были славяне.

²² Вероятнее всего, от *дромос* – бег (Ахиллеса), как вблизи устья Днепра называлась в древности песчаная коса, ныне Тендра. Дромиты – обитатели Днепровского устья. Они назывались и тавроскифами. (Существовала легенда о том, что в тех местах Ахилл устроил состязания по бегу в честь своих побед. – *Примеч. ред.*)

Великая правдивость и первобытная наивность Нестора замечается в том, что он не умеет связать концы с концами и попросту собирает и соображает все, что почитает любопытным и достойным памяти. Главнейшая его система и цель одна – сказать правду. Предание, догадка или соображение о том, что имя Руси должно быть принесено варягами, явились ответом на те самые вопросы, какими летописец начинает свой труд. Кто первый стал княжить в Русской земле, тот, конечно, принес ей и имя, как и имя Киеву дал первый киевский человек Кий, живший тут, когда еще не было города. И все эти соображения, с другой стороны, вытекают прямо из общего тогдашнего воззрения на исторические дела, из того убеждения, что всякому делу, или порядку дел, или городу, или целой земле предшествовал личный деятель и творец, от которого все и пошло. Тогдашний ум не понимал и не представлял себе никакого дела без его художника и творца. С этой точки зрения он объяснял себе не только исторические, не говоря о повседневных, но и физические явления природы, не только явления материальные, вещественные, но и все явления своих духовных наблюдений и созерцаний. Всякому делу, всякому деянию и событию был художник, известная личность, рука созидаящая, строящая, управляющая. Тех понятий о начальном деянии самой жизни, которые и по настоящее время не сделались еще господствующими, тех понятий об органической и физиологической постепенности и последовательности всякого развития тогдашний ум еще не сознавал и потому представлял себе историю как чудную механику, создаваемую исключительно искусством частной личной воли.

Ничего нет удивительного, что наука в своем младенчестве иначе и не могла растолковать себе законы исторического творчества в жизни людей. Надобно больше удивляться тому, что такой взгляд на историю сохраняет свою силу и до сих дней.

Когда древний летописец восходил своим пытливым умом к началу вещей, хотя бы к началу Руси, то он, не задумываясь ни над какими обстоятельствами, начинал свою повесть от *пустого места* или вообще от такого положения вещей, какое в самом деле показывало пустоту перед делами и деяниями, какие он начинал описывать. То, чего он не знал, не помнил, он отодвигал в пустое пространство небытия. Он не знал, что основа истории есть *жизнь*; а жизнь имеет семя, зачаток и в известных смыслах указывает даже на саморазвитие и на самозачатие, то есть на такое действие жизни, в котором никак не откроешь личного художника. Положим, что призванный Рюрик-русс со своими варягами-русью был основным началом организации Русского государства. Но ведь были люди и даже были города, которые его призвали и которые этим деянием показали, чего недоставало в их жизни. Они призвали весьма потребную новую силу. Каким же путем они дошли до такого сознания? Несомненно, путем долгих и очень прискорбных опытов, которые привели к одной жизненной, живой истине, что без устройства жить нельзя. Но на пустом месте, куда пришел Рюрик, такого сознания выработать было невозможно. Стало быть, еще до Рюрика был пройден длинный путь развития, на котором из диких инстинктов успел выработаться смысл, если не о государственном, то о простом житейском порядке. Это одно. А другое – сам *город*, который призвал варягов. Чтобы доработаться до создания города в среде какого-либо дикого племени, сколько нужно веков? Древняя Русь не была цивилизованной Америкой, где города создаются в два-три года людьми, которые сами приходят из городов. На Руси люди шли создавать себе город из степей, болот и лесов. В ней город должен был родиться путем долгого органического развития, путем долгой постепенности и последовательности, путем великого множества племенных и других связей и отношений. Одним словом, еще задолго до Рюрика в Русской земле должно было существовать все то, к чему он был призван как к готовому. Таким образом, семена и зародыши русского развития скрываются где-то очень далеко от эпохи призвания варягов. В этом на первый раз убеждает та истина, что история идет путем живой растительной организации, а не путем произвольной махинации; что

само призвание варягов если и было началом нашей истории, то оно же было концом другой нашей истории, о которой мы ничего не знаем.

Понятия и соображения Нестора о происхождении имени Русь не пошли дальше одной этой статьи. Он настаивает, что от варягов мы прозвались русью, но не говорит ни слова, что варяги создали из нас настоящих людей. Он говорит, что и до Владимира из варягов много было христиан, но ни слова не говорит, что они же были и нашими апостолами. Ни слова не говорит, что варяги составили особое дворянское племя, говорили особым языком, научили нас воевать, торговать, плавать по морю и по рекам и пр. и пр.

Не то мы узнаем от толкователей и объяснителей Нестора, которые, напротив, все отняли у руси-славян и все отдали руси-скандинавам.

И Нестора, и начальную русскую историю, как известно, первые стали объяснять *критически* немецкие ученые. Первый из первых Байер, великий знаток языков (не исключая и китайского), великий латинист и эллинист, за 12 лет своего пребывания в России не научился, однако, да и никогда не хотел учиться языку русскому. Миллер точно так же на первых порах, находясь уже семь лет профессором Академии наук, не мог все-таки без переводчика читать русские книги и усвоил себе знание языка уже впоследствии. Естественно ожидать, что, не зная ни русского языка, ни русской страны и объясняя древнейшую русскую историю, эти ученые останавливались лишь на тех соображениях, какие были особенно свойственны их германской учености. Им естественно было смотреть на все немецкими глазами и находить повсюду свое родное германское, скандинавское. По этой причине Байер самое имя Святослав толковал из норманнского Свен, Свендо и догадывался, что оно только искажено, например, от Свеноттона, Свендеболда и т. п. Для немецкого уха всякое сомнительное слово, конечно, скорее всего, звучало по-германски; для немецких национальных идей о великом историческом призвании германского племени, как всеобщего цивилизатора для всех стран и народов, всякий намек о таком цивилизаторстве представлялся уже неоспоримой истиной.

Круг немецких познаний хотя и отличался достаточной ученостью, но эта ученость больше всего знала свою западную немецкую историю и совсем не знала, да и не желала знать истории славянской.

Очень хорошо зная и видя в истории только одних норманнов и оставляя в стороне в небрежном тумане историю о славянах, могли ли немецкие ученые иначе растолковать начало русской истории как именно норманнским происхождением самой Руси?

Вот естественная и, так сказать, физиологическая причина, почему немецкая ученость без малейшего обсуждения признала Несторовых варягов-русь норманнами.

Это толкование вскоре сделалось как бы священным догматом немецкой учености.

«Что скандинавы или норманны, в пространном смысле, *основали* Русскую державу, в этом никто не сомневается», – говорил швед по происхождению Тунман. «Ни один *ученый* историк в этом не сомневается», – повторял и подтверждал уже Шлецер, строгий и суровый критик, решив вместе с тем раз и навсегда, что всякое другое мнение об этом предмете есть мнение *неученное*. Он очень сожалел, что неученые русские историки Татищев, Ломоносов, Щербатов единственно по своей неучености все еще выдавали варягов за славян, пруссов или финнов, несмотря на диссертацию Байера, который будто бы так опроверг подобные мнения, что «никто могущий понять ученое историческое доказательство, не будет более в том сомневаться».

К сожалению, Байер этого не сделал. Он только не весьма основательно доказывал скандинавство варягов и поставил на первый план для разысканий об этом предмете лишь одни скандинавские источники. Между тем как варяги наших летописей, так и вообще балтийские поморцы требовали для своего объяснения более ученого и более широкого взгляда на источники.

Байер очень хорошо знал, что весь южный берег Балтийского моря с древнейших времен принадлежал славянам, что там существовали тоже варяги, под именем вагров. Но видимо, что славянское происхождение Руси ему не нравилось, и он без малейшей критики, а прямо только по прихоти ученого отвергает и Адама Бременского, и Гельмгольда, писателей более древних, довольно говоривших о варяжском славянстве, и берет себе в свидетели позднейшего Саксона Грамматика, говорившего подходящую истину, что все славяне на Балтийском берегу поздно начали разбойничать, то есть прославлять себя варягами.

Байер, таким образом, вовсе устранил из своего исследования о варягах целый и весьма значительный отдел свидетельств об истории балтийских славян, чего истинная и непристрастная ученость не могла бы допустить. Не зная, что делать со славянскими ваграми, он их обошел отметкой, что они, явившись варягами-разбойниками позже скандинавов, не могут иметь особого значения в вопросе о происхождении Руси. Так точно и Шлецер, не зная, что делать с Аскольдовыми руссами, очень помешавшими его воззрению на скандинавство Руси, совсем их исключил из русской истории и строго приказал впредь никогда об них не упоминать²³.

По следам Байера Шлецер пошел еще дальше. Он совсем отверг и малейшее значение для русской истории всех аттиков, как говаривал Ломоносов, то есть писателей древности греческой и римской, показав, что сообщаемые ими сведения о нашем севере обнаруживают только совершенное их неведение этой страны. «И я также, – говорит знаменитый критик, – потерял в сих изысканиях много времени и труда; однако же не жалею о сей потере, ибо теперь верно знаю то, что ничего не знаю и что из сих изысканий никто не может извлечь ничего верного» (*Нестор*, I, 38).

Аттические свидетельства, конечно, заключали в себе по большей части или одни имена, или отрывочные показания об истории и этнографии наших краев. Из этих отрывков, разумеется, невозможно собрать историю в собственном смысле и особенно в шлецеровском смысле как историю государства; зато в их массе сама собой возникает, по крайней мере, та истина, что до пришествия к нам скандинавов на нашей земле жили люди, и не только кочевники, но и земледельцы, и торговцы, и даже отважные мореплаватели. Неужели для критической истории такая истина была маловажна? Она, несомненно, указывала на начала, на стихии и корни нашего доисторического бытия, которое было началом и нашей истории. Истинная, непредубежденная критика никак не могла бы отвергнуть свидетельств аттической древности, тем более что сами свидетельства о скандинавстве Руси содержали в себе тоже одни имена и весьма отрывочные показания, вполне сходные по своей темноте с латинскими и греческими.

Основной краеугольный камень, на котором Байер утвердил свое заключение о том, что руссы были шведы, – это сказание Бертинских летописей о послых россах от царя Хакана,

²³ Шлецер. *Нестор*, II, 107–116. Горячо доказывая, что руссы, осаждавшие в 865 г. Константинополь, никак не могут быть киевскими руссами, Шлецер превосходно очертил известный способ исторических выводов и заключений от сходства имен. «Простое сходство в названии рос и рус, – говорит он, – обмануло и почтенного Нестора и ввело его в заблуждение, которое повторяли за ним 700 лет кряду, без всякого рассмотрения! *Сходство в именах, страсть к словопроизводству* – две плодovitейшие матери догадок, систем и глупостей – это относится ко всем летописателям греческим и римским, начиная с древнейшего; потом в особенности отличалось этим XIII столетие, и этим же до сего еще дня отменно наполнена северная история. На Днепре находят слово, несколько похожее на другое, употребляющееся в Арабии: вдруг составляют оба вместе, объясняют одно другим и выводят дела, каких нет ни в одной современной книге. Если же слово это не имеет заметной с другим созвучности, то его поднимают на этимологическую дыбу и мучают до тех пор, пока оно, как будто от боли, не закричит и не даст такого звука, какого хочется жестокому словопроизводителю. Давно ли *Караманию*, что в Персии, связывали с *Германией*. Дегиньи, Сум – какие почтенные имена в науке истории! Однако же первый говорит, что *свевы* (в Немции) происходят от *сив*, разрушителей Бактрианского царства за Каспийским морем» и т. д. Так строго осудил великий наш учитель не ученую догадку, а прямое летописное свидетельство, что киевские руссы 865 г. были наши родные руссы; между тем этой строгой критики он никак не хотел приложить к немецкому домыслу, что руссы происходят от шведских родов из Рослагена (*Нестор*, I, 317), к домыслу, который единственно и утверждается только на сходстве имен и по своей силе равняется производству Германии от древней Персидской Карамании.

оказавшихся будто бы свеонами. Разве это свидетельство не столько же темно и двусмысленно, как и все подобные отрывочные свидетельства древности?

Если на аттиках нельзя основывать ничего верного, то по какой же причине это немецкое свидетельство о свеонах, будто бы шведах, оказывается вполне достоверным?

Но изучение донорманнской древности неизбежно привело бы к твердому заключению, что славяне – такой же древний народ в Европе, как и германцы, что их история также значит кое-что во всемирной истории, что поэтому имя русь, пожалуй, прямыми дорогами подойдет к древним роксоланам и т. д.

Все это страшно противоречило немецким ученым и патриотическим предубеждениям и предрассудкам. Немецкая ученость искони почитала и почитает славян племенем исторически очень молодым, диким, ничтожным и во всем зависимым от немцев. Еще большими варварами казались ей русские.

Надо согласиться, что по свойству человеческой природы и особенно по свойству всякого личного развития и образования историку и историческому исследователю бывает очень трудно и почти совсем невозможно освободить свои взгляды и изыскания от разных ученых или же национальных и даже модных убеждений и предубеждений. Нам кажется, что иные ученые критики-исследователи очень ошибаются, когда с видом величайшей добросовестности и якобы полнейшего беспристрастия стараются уверить читателя, что ведут свои исследования чистейшим *путем науки* и вовсе не увлекаются какими-либо патриотическими, как обыкновенно говорят, или субъективными идеями и побуждениями. Читатель наперед должен знать, что в обработке истории это дело решительно невозможное. История – наука не точная, не математика. Она подвижна и изменчива, как сама жизнь. Основания ее познаний сбивчивы от множества противоречивых свидетельств; неустойчивы по невозможности отыскать в них точную, решительную, несомненную истину. История трудится над таким материалом, который весь состоит только из дел и идей человеческой жизни. А жизнь, и тем более прожитая, – существо неуловимое. Ее понимать и объяснять возможно только положениями и отношениями той же самой жизни. Очень естественно, что, постоянно имея дело только с жизнью, разрабатывая и объясняя только жизнь человечества или народа, история по необходимости охватывает вопросами жизни и самого писателя, будет ли он критик-исследователь или художник-повествователь – это все одинаково: в его труде неизменно будут трепетать идеи и побуждения самой жизни, всегда руководящие каждым живым человеком. Поэтому личные национальные, религиозные, общественные предубеждения, пристрастия, предрассудки всегда неизменно отразятся и в работах писателя, как бы ни казалось его писание *ученым*, то есть совсем отвлеченным от дел и вопросов живого мира. Вообще, история есть дело сколько науки, столько же и самой жизни, дело мысли и вместе с тем дело чувства, а потому прямое дело политических, общественных, гражданских, религиозных и всяких других идей и понятий, которыми управляется в данное время не только общее всенародное, но и каждое личное сознание и созерцание. Никакой, даже самый мелочный, вопрос исторической изыскательности не может не выразить, так или иначе, какого-либо увлечения любимыми идеями, привязанностями и пристрастиями и никак не может стоять на почве в полном смысле научной или математически точной и беспристрастной. Высота ученого беспристрастия у исторического писателя может выразиться только в его строгой *правдивости*, то есть в таком качестве, которое принадлежит не обвинителю и не защитнику, а одному нелицемерному правдивому суду. Как известно, исторические исследователи бывают чаще всего или прокурорами-обвинителями, или бойкими защитниками и очень редко справедливыми и правдивыми судьями. Вот по какой причине история не почитается даже и наукой и в ее области в иных случаях каждый рассудительный читатель может понимать иное дело вернее, чем даже многосторонний ученый-изыскатель.

И вот по какой причине вопрос о происхождении Руси, как вопрос о происхождении *династии* (именно о происхождении династии, как требовалось по немецким понятиям), об основании государства, о начале политической жизни народа, в свое время прямо уносил все умы в область политики и заставлял их решать его по тому плану, какой бывал начерчен прежде всего в политическом сознании изыскателя.

Очень естественно, что и немецкая ученость при разрешении этого вопроса во многом руководилась чисто немецкими идеями и мнениями, которые вдобавок действовали тем сильнее, чем ограниченнее были познания исследователей в русской и славянской древности.

Исходная точка немецких мнений по этому предмету и, так сказать, национальная исповедь их яснее всего выражена главным вождем исторической критики, самим Шлецером. Его историческое убеждение в рассмотрении этого дела было таково:

«*Германцы* по сю сторону Рейна, а особливо франки, с 5-го столетия, еще же более со времен Карла Великого, следственно, ровно за 1000 лет до сего, *назначены были судьбою* рассеять в обширном *северо-западном* мире первые семена просвещения. Они выполнили это предопределение, держа в одной руке франкскую военную секиру, а в другой Евангелие; и самые даже жители верхнего севера, по ту сторону Балтийского моря, или *скандинавы*, к которым никогда не заходил ни один немецкий завоеватель, *с помощью германцев начали мало-помалу делаться людьми*».

«Но все еще оставалась большая треть нашей части земли, суровый *северо-восточный север*, по сю сторону Балтийского моря до Ледовитого и Урала, о существовании которого не ведали ни греки, ни римляне, куда за величайшей отдаленностью не проходил еще ни один германец. И тут за 1000 лет до сего, через соединение многих совсем различных *орд*, составил народ, называемый *руссами*, долженствовавший со временем распространить человечество в таких странах, которые, кажется, до тех пор были забыты от отца человечества... Люди тут были, может быть, уже за несколько тысяч лет, но очень в малом числе; они жили рассеянно на безмерном пространстве земли, *без всякого сношения между собою*, которое затруднялось различием языков и нравов... Кто знает, сколь долго пробыли бы они еще в этом состоянии, в этой блаженной для получеловека бесчувственности, ежели бы не были *возбуждены*». Кем же и чем же? Нападением норманнов и затем призыванием норманнов, объясняет автор, хотя и делает большую уступку, которая легко могла бы перенести его рассуждение совсем на иную точку воззрений. Он говорит: «*Просвещение, занесенное в сии пустыни норманнами*, было не лучше того, которое европейские (то есть русские) казаки принесли к камчадалам». Значит, славяне IX века стояли по развитию на степени камчадалов, имея уже большие города, из которых один, северный, дошел даже до решения устроить у себя лучший порядок, призвав властителей из-за моря. «Но тут Олег перешел в Киев, – продолжает знаменитый критик, – и подвинулся к приятному югу. Тут сильные побуждения к просвещению возникли от Царьграда, сильнейшее было введение христианской веры».

Ясно, что днепровское население, которое, по словам самого автора, могло тут жить за несколько тысяч лет (и жило действительно поблизости к грекам), узнало даже о существовании Царьграда, благодаря пришедшим из далекой Скандинавии норманнам.

Шлецер очень часто повторяет эту свою заученную и любимейшую мысль, что «в ужасном расстоянии от Новгорода до Киева направо и налево до прихода варягов все еще было *пусто и дико*». «Удивляюсь я ужасной *дикой и пустой* обширности всей этой северо-восточной трети Европы до основания Русского царства», – говорит он в другом месте.

«Конечно, люди тут были, Бог знает, с которых пор и откуда зашли, но (какие люди!) люди без правления, жившие, подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса, люди, не отличавшиеся ничем, не имевшие никакого сообщения с южными народами, почему и не

могли быть замечены и описаны ни одним просвещенным южным европейцем... Конечно, и здесь, как у всех народов, есть *вступление в историю*, основанное на рассудке».

Задавшись такими мыслями, Шлецер рисует состояние нашего населения, сравнивая его с ирокезами и другими дикарями американских лесов, и всю страну, по меньшей мере, почитает Сибирью и Калифорнией своего времени, то есть как они были сто лет назад. Поэтому мысль Шторха о древней России, что в ней шло торговое движение между Востоком и Западом еще в VIII столетии (теперь это вполне уже доказано бесчисленными находками арабских монет), он именует не только *неученой*, но и *уродливой*. По случаю своего рассуждения о даях и деньгах Древней Руси он отмечает между прочим: «Здесь в восточном севере ничего не встречаем мы, кроме белок и куниц, дело удивительное!» – и затем решает, что здешние племена «не знали *большого звероловства, даже и скотоводства* у них долго еще после того не было, если верить Константину Багрянородному, который говорит, что быков, лошадей и овец совсем у руссов нет, они начали покупать их у печенегов и с тех пор зажили получше».

Так смысл одной общей идеи способствует читать и понимать по-своему даже и сами тексты.

Но Шлецер удивляется тому, что не было у наших славян большого звероловства. «Неужели, – говорит он, – были они слишком робки или слишком слабы телом. Ни того, ни другого нельзя сказать о северных людях; и тогда еще страна их до самого Киева была и в рассуждении климата очень сурова. Почему я и думаю, что у них *не было снастей* и такого оружия, без которого господин творения не дерзает нападать на сильных зверей. Древние германцы большей частью звероловству обязаны были своей телесной силой, храбростью, даже первым образованиям ума своего. Напротив того, в Отагейти, как прежде в Перу и в Мексике, люди стояли на очень низкой степени просвещения, верно, оттого, что не занимались большим звероловством. Летты и ливы *до прихода немцев*, кажется, по той же причине оставались в том же состоянии унижения, как древляне и прочие славяне. С какой гордостью, напротив того, показывается *прусс* (в образе немца?) между народами верхнего севера! Уже после 1000 года побил он *конницей* напавших на него неприятелей». Быть может, это был русс, живший в устье Немана?

Очень естественно, что на этом диком и пустом фоне, какой был начерчен Шлецером для изображения нашей страны и наших людей *до прихода немцев*, фигура этих самых немцев, норманнов-варягов, сама собой выходила очень красивой и сильной. Это был народ, *владычествующий* во всех отношениях и смыслах. Все достойное во всех отношениях и смыслах происходит от варягов-норманнов-немцев. Даже и сильная привязанность новгородцев к свободе, которая во все продолжение среднего века часто оказывается сверх меры, заставляет также заключать, что они варяжского происхождения. Это, впрочем, доказывает и наш летописец, говоря, что «новгородцы были от рода варяжска». Но как понимать его слова? Какой это был род варягов?

Само собой разумеется, что варяги же, то есть *норманны*, посеяли на Руси первые семена христианства; они построили первую церковь *Св. Ильи* в Киеве и т. д. В новом обширном, но *пустом* и диком своем владении Олег стал заводить местечки и села. Но Ольга все-таки еще жила среди диких народов.

Таковы были общие учения и, конечно, больше всего национальные убеждения и предубеждения Шлецера. Все это, кроме того, очень крепко вязалось с тогдашним ученым чисто немецким выводом, что славяне появились в истории не прежде VI и отнюдь не прежде V века по Р.Х. А появиться в истории, в тогдашней науке, значило почти то же, что внезапно упасть в человеческий мир, на землю, прямо с неба.

Великий знаток истории и великий критик Шлецер, раскрывая начальный ход русской истории, однако, после нашего Нестора, не сказал ничего нового. Он только ученым спосо-

бом и строгой критикой очистил, укрепил, утвердил те же первобытные исторические воззрения первобытного нашего Нестора. Точно так же и сам Шлецер начинает нашу историю с пустого места: «Земля была не устроена, и дух Божий ношахуся поверх воды». Но у нашего Нестора это вытекало из общих его исторических созерцаний и из той системы, какую он положил в начале своего труда, открыв путь своей русской истории от самого Потопа. Его мыслями руководила библейская идея о мировом творении, которую он почерпнул из чтения византийских хронографов, или, еще ближе, идея христианства, перед которым языческое варварство в действительности представлялось пустым и вполне диким местом.

Казалось бы, ученейшему критику очень было возможно совсем миновать эту идею. Но здесь лучше всего объясняется то обстоятельство, что разработка каждой отдельной науки, как и каждого отдельного вопроса в науке, вполне зависит от общих философских начал человеческого знания, какие господствуют в то или другое время. В XVIII столетии, несмотря на его беспощадную критику всего существующего в жизни и в науке, историческое знание очень крепко еще держалось своей первобытной почвы и всякое явление в своей области объясняло тем ходом дел, какой был начертан первобытной историей мирового творчества. Оно вообще очень много и даже все присваивало личному деянию и вовсе не замечало, даже не подозревало, что в человеческой истории существует и *другой деятель*, неуловимый, незримый, но еще более сильный, чем деяния лица или отдельных лиц, которые остаются наиболее памятны лишь потому, что случайно выдвигаются вперед. Этот другой деятель, как мы заметили, есть сама *жизнь*, тот образ народного бытия, который носит в себе все признаки живого естественно-исторического организма и который мы пока еще очень смутно рисуем себе в имени народа, нации.

В человеческой истории первый творец своего быта и своей жизни – сам народ. Он зарождает себя так же незримо и неуловимо, как и все зарождающееся в живом мире. Те начальные точки, с которых мы начинаем его историю, есть уже значительно возрастные его шаги, действие уже созревшего, воспитанного его сознания, каково, например, было в нашей истории сначала изгнание, а потом призвание варягов. Это важное по своим последствиям событие представляет лишь новое колено в общем росте народного развития.

Наш Нестор этого не подозревал и, начитавшись византийцев, объяснил, что до прихода варягов все было пусто и дико, земля была не устроена и люди жили как всякий зверь. С идеями Шлецера о великом историческом призвании германского племени эта истина совпадала как нельзя лучше, и он развил ее и критически обработал до конца. Но так как подобная система или теория тотчас приводит к противоречиям, а потому непременно требует для их объяснения чудес, то и по системе самого Шлецера мало-помалу стали обнаруживаться чудеса или такие явления, которых он никак не мог себе объяснить и торопливо проходил их мимо, обозначая в коротких словах только свое удивление.

«Замечания достойно, – говорит он по поводу занятия Олегом Киева, – как пять тутошних народцев, которые призвали варягов, которые, как по всему видно, до того времени не большие были охотники до войны, *под норманнской дисциплиной* в такое короткое время научились быть завоевателями», – и заключает, что если Киев и Аскольд были невинны, то надобно утешаться тем, что «расширение нового Русского царства на юг предположено было высочайшим и благодетельным промыслом... Древние ханаанские жители не только покорены, но даже истреблены были чужеземным кочующим народом; Всевышний не токмо попустил это, но и повелел».

Киев *вдруг* пришел в цветущее состояние, которому изумлялись иноземцы и которое и для Шлецера кажется необыкновенным. Удивляется он и Олегову договору с греками, где дикие норманны-язычники говорят «не только кротко, но даже по-христиански». По этой причине он не верит даже в подлинность договора. Далее он почитает очень странным, что

«руссы мореходные названия (судов), которыми так богат норманнский язык, заняли от греков».

Но самое существенное чудо, которого Шлецер никак не мог себе объяснить, заключалось в том обстоятельстве, что, несмотря на владычество норманнов-варягов, вскоре на Руси все сделалось славянским. Славяне сделались главным народом нового государства и поглотили не только четыре прочих народа, но даже и своих победителей. «Явление, которого и теперь еще совершенно объяснить нельзя!» – замечает критик.

«Даже от самих варягов (норманнов) через 200 лет не осталось более ни малейшего следа, – продолжает он ту же мысль, – даже скандинавские собственные имена уже после Игоря истребляются из царствующего дома и заменяются славянскими. Славянский язык нимало не повреждается норманнским, которым говорят повелители. Как иначе, напротив того, шло в *Италии, Галлии, Испании* и прочих землях! Сколько германских слов занесено франками в латинский язык галлов и пр. Новое доказательство, – заключает критик, – что варяги, поселившиеся в новой земле, не слишком были многочисленны».

Но тремя страницами прежде он сам же старается разъяснить, что и полудикие народы, к которым пришли варяги, были тоже немногочисленны.

«По всему кажется, что пять первых народов были очень малочисленны и полудики. До нашествия варягов жили они между собой без связи; каждая орда отдельно от другой, *по-патриаршески* (особо), *со своим родом*; а до сего еще менее имели они сношения с чужестранцами... Все они жили постоянно и кочевать уже перестали, только об огороженных селениях их, *городами* называемых, не надобно думать слишком много... Ежели бы, судя по великому пространству земли, ими занимаемой, были они многочисленны, то как можно поверить, чтобы горсть варягов осмелилась так далеко зайти в неизвестную им землю и несколько лет кряду собирать дань с орд, отделенных одна от другой на сто миль и более?»²⁴

Таким образом, отношение числа остается одинаковым. Если было мало норманнских варягов, то немного было и дикарей, которые их призвали, и непостижимый факт, что все скоро ославянилось, остается по-прежнему чудом.

«Это замечательно! – восклицает критик. – Трое первых великих князей явно имеют норманнские имена, а четвертый уже нет. Германские завоеватели Италии, Галлии, Испании, Бургундии, Карфагена и пр. всегда в роде своем удерживали германские имена, означавшие их происхождение. Здесь же это прекращается очень рано, и из этого можно вывести новое доказательство, что победители и побежденные скоро смешались друг с другом, и славяне, в особенности, *по неизвестным нам причинам* рано сделались главным народом»²⁵.

Вот эти-то самые *неизвестные причины*, почему славяне на Руси сделались главным народом, то есть владычествующим (чего Шлецер никак не хотел помянуть), должны были представить самый существенный предмет для изысканий, именно по случаю ни на чем не основанного решительного утверждения, что варяги были в известном смысле просветителями и организаторами существовавших здесь полудиких славянских орд.

Таково было созерцание немецкой науки о нашей русской древности. У Шлецера оно выразилось в виде научных неоспоримых истин. Но Шлецер только научным способом утвердил уже старые идеи. Эти самые или в том же роде неоспоримые истины господствовали в умах всех немцев и всех иностранцев, приходивших со времен Петра просвещать и образовывать варварскую Русь. Положение русских дел в первой половине XVIII века во многом напоминало положение славянских дел во второй половине IX века.

²⁴ «То же самое сделалось прежде и в Булгарии, – прибавляет Шлецер, – где славянские жители принудили также новых своих повелителей забыть совершенно принесенный ими с Волги язык. Изнеженные китайцы не довели до этого своих манджуров». Но и булгары, и варяги, по всей видимости, были такие же славяне.

²⁵ Шлецер. Нестор, I, 343, 389, 419, 420, 469; II, 168, 169, 171, 172, 175, 181, 204, 259, 261, 265, 266, 289, 651, 703, 708; III, 152, 190, 364, 476, 477 и др.

Призвание немцев в петровское время для устройства в дикой стране образованности и порядка лучше всего объясняло до последней очевидности, что не иначе могло случиться и во времена призвания Рюрика. Кого другого могли призывать новгородцы, как не германцев? Для чего бы они призвали к себе своих родичей, таких же диких славян? Это была такая очевидная и естественная истина, выходящая из самой природы тогдашних вещей, что и ученые, и образованные умы того времени иначе не могли и мыслить. Тогда никому и в голову не могло прийти, чтобы германцы в какое-либо время были так же дики, были такими же варварами, какими были и славяне, призывавшие к себе этих образованных немецких варягов-князей. Вот почему достаточно было одной вероятности, что руссы могли быть скандинавы, провозглашенной притом ученым человеком и ученым способом, чтобы эта вероятность явилась самой простой истиной, в которой и сомневаться уже невозможно. Надо заметить, что учение о скандинавстве Руси провозгласило свою проповедь в то время, когда по русским понятиям слово «немец» значило ученость, как и слово «француз» значило образованность. Отсюда полнейшее доверие ко всем показаниям учености и образованности. Само русское образованное общество, воспитанное на беспощадном отрицании русского варварства и потому окончательно утратившее всякое понятие о самостоятельности и самобытности русского народного развития, точно так же не могло себе представить, чтобы начало русской истории произошло как-либо иначе, то есть без содействия германского и вообще иноземного племени. Если у немецких ученых и неученых людей в глубине их национального сознания лежало неотразимое убеждение, что все хорошее у иностранцев взято или принесено от германского племени, то и у русских образованных людей в глубине их национального сознания тоже лежало неотразимое решение, что все хорошее русское непременно заимствовано где-либо у иностранцев. Нам кажется, что эти два полюса национальных убеждений, немецкий – положительный и русский – отрицательный, послужили самой восприимчивой почвой для водворения и воспитания мнений о происхождении Руси от немцев со всеми последствиями, какие сами собой логически выводились из этого догмата.

Надо припомнить, однако, как встречены были немецкие мнения о скандинавстве Руси и вообще о начальной русской истории первыми русскими учеными, то есть первыми русскими людьми, которые наукой возвысились до степени академиков и могли независимо от немцев сами кое-что читать и понимать по этому вопросу.

После Байера о скандинавстве варягов заговорил академик и государственный императорский историограф Миллер, досточтимый ученый, который впоследствии оказал русской исторической науке многочисленные пользы, хотя на первых порах своей ученой деятельности претерпел немалое крушение, которое, быть может, послужило отрезвляющим поводом к более правильному пониманию основных задач его ученой изыскательности. В 1749 году по поручению Академии к торжественному собранию он написал речь, предметом которой избрал темный вопрос: «О происхождении народа и имени российского», где по Байеру доказывал, что варяги были скандинавы, то есть шведы, что имя русь взято у чухонцев (финнов), которые шведов называют «россалеина». В то самое время у нас существовали очень враждебные отношения к Швеции. Вопрос, таким образом, относительно своего скандинавского решения по естественной причине принимал некоторый политический оттенок, и сами же немецкие ученые (Шумахер) сознавали, что предмет рассуждения был скользкий. Но не предмет, а именно его решение по тогдашним обстоятельствам переносило науку в область политики и заставило самое начальство Академии отдать речь Миллера на рассмотрение всего ученого академического собрания с особым требованием, не отыщется ли в ней чего-либо предосудительного для России. К этому еще присоединялись личные вражды между академиками. Большинством голосов речь была осуждена «как предосудительная России».

«Уже напечатанная речь была истреблена по наущению Ломоносова», – пишет в своих записках Шлецер. В своем «Несторе» он к этому прибавляет: «Один человек (Ломоносов) донес Двору, что это мнение оскорбляет честь государства. Миллеру запретили говорить речь». «Ныне трудно поверить гонению, претерпенному автором за сию диссертацию, – пишет Карамзин. – Академики по указу судили ее: на всякую страницу делали возражение. История кончилась тем, что Миллер занемог от беспокойства, и диссертацию, уже напечатанную, запретили». – «Речь не была читана. Грустно подумать, что причиной тому был извет Ломоносова», – повторяет Надеждин²⁶. Такие недостойные, вопиющие обвинения с легкой руки Шлецера повторялись с разными видоизменениями до последнего времени.

Теперь достоверно открылось, что всему этому делу руководителем был секретарь, «советник» Академии Шумахер. Охраняя честь и достоинство Академии, то есть академической корпорации, он первый указал начальству на сомнительные достоинства Миллерова труда.

Несмотря на то, до сих пор это дело представляется в таком свете, будто русские академики из одного квасного и недостойного патриотизма, из одного «национального пристрастия и нетерпимости» напали на ученый труд учнейшего немца и постарались устранить с поля науки, между тем как этот труд будто бы являлся «одной из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и (ввести) историческую критику, без которой-де история не мыслима как наука»²⁷.

²⁶ Сборник Академии наук. – Т. XIII. – С. 48; Карамзин. История государства Российского (далее: И.Г.Р.), I, пр. 111; Надеждин. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. – Т. XX.

²⁷ В новом академическом издании «Каспий» все это дело именуется «инквизиционным судом, наряженным по доносу (уже) Теплова для обсуждения *препущтой* речи Миллера». При этом перед доносом Теплова ставятся два вопросительных знака, которые все-таки дают надлежащий намек на действие Теплова, между тем как из писем к Теплову Шумахера весьма достоверно и очевидно открывается, с какой стороны шел этот пресловутый донос, представляющий собственно весьма простое домашнее канцелярское и секретарское действие самого Шумахера, как охранителя интересов академической корпорации. См.: Каспий. – СПб., 1875. – С. 641, 689. Вот письма Шумахера к Теплову: «7 августа 1749 г. г. Миллер представил мне свою речь на латинском языке, чтобы переслать ее в Москву (где тогда находился президент Академии г. К. Разумовский). Вот она... Прошу вас, прочтите ее внимательно. Он излагает предмет с большой эрудицией, но, по моему мнению, с малым благоразумием, ибо, во имя Господа, зачем разрушать при помощи шведских и датских писателей мнение, столько стоившее сочинителям, работавшим *для прославления нации*? Я не говорю более. По крайней мере, прежде напечатания ее не забудьте, м. г., напомнить его сиятельству, чтобы он приказал прочесть эту речь *in pleno* (лат. в полном составе. – Примеч. ред.), потому что академики, так же как и профессора, принимают в том участие, почему я желал бы, чтобы там не упоминалось о советниках...» «10 августа. Г. президент приказал Миллеру четыре месяца тому назад приготовить речь для торжественного собрания, предоставив на его волю избрать какой угодно ему предмет. До сих пор он ее не кончил и выбрал предмет самый скользкий (*scabreux*), который *не принесет чести академии*, напротив, не преминет навлечь на нее упреки и породить ей неприятелей. Всему причиной тут гордость. Так как эта речь академическая, то автору ее очень хорошо известно, что ее необходимо прочитать в конференции и рассмотреть профессорам; но он также знает, что многие не одобряют его разглагольствий, и потому-то он так долго медлит со своей речью, чтобы не оставалось времени на рассмотрение ее. Пусть только его сиятельство прикажет прочитать ее в конференции и напечатать после рассмотрения ее там...» «17 августа. Так как времени очень мало, чтобы разжевывать заключающееся в ней содержание, то было бы хорошо, когда бы его сиятельство сообразовал приказать Миллеру высказаться гадательно, чтобы не обижать никого. Поистине это самый верный и приятный способ, потому что тогда решение предоставляется публике, которая желает быть главной, а, несмотря на то, автор, если он искусен, силой своих доказательств нечувствительно увлечет на сторону своих воззрений. И самое главное в этом случае есть то, что президент не рискует ничего своим одобрением, а профессора могут быть тем только довольны...» «21 августа. Его сиятельство прекрасно поступил, передав диссертацию г. Миллера на суд гг. профессоров. Они уже работают над ней и сделают так, что все останутся тем довольны, как равно и г. Миллер. Если бы напечатать его речь в том виде, как она есть, то все профессора согласны, что это было бы *уничжением для Академии*...» «24 августа. Г. Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения...» «28 августа. Фишер сказывал мне, что г. Ломоносов пишет по-латыни несравненно лучше Миллера. Так как речь последнего была *наполнена ошибками против грамматики и истории и выражениями грубыми и обидными*, то это все откинули, насколько позволяли время и уступчивость г. Миллера... Я говорю вам, м. г., как перед Богом, что Миллер только тогда сказал мне о своей речи, когда представил ее в канцелярию для отсылки в Москву. Правда, что, прочитав ее, я ему сказал в лицо, что не думаю, чтобы его сиятельство одобрил когда-нибудь его речь в том виде, как она есть, и что было бы лучше изложить этот предмет с большей осторожностью, чтобы не обидеть никого...» По случаю рассмотрения речи, назначенное на 6 сентября торжественное собрание Академии было отложено, почему Шумахер писал: «6 сентября. Весь город в волнении от внезапной перемены касательно торжественного собрания и каждый занят отысканием причин тому. Некоторые даже

Представляется, что немецкий ученый раздражил гусей и что, кроме патриотизма, русские ученые в этом споре руководствовались еще крайним невежеством, ибо говорят, что Ломоносов защищал будто бы против учености Миллера сказки киевского Синописа (о славянстве варягов, о происхождении Москвы от Мосоха и т. п.); говорят даже, что Ломоносов упрекал Миллера, «зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами». Это уже прямая напраслина.

Вообще утверждают, что, за исключением Третьяковского, русские академики, разбивавшие диссертацию Миллера, – Ломоносов, Крашенинников, Попов – осуждали его выводы «не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности» и что «на почве научного решения вопроса» остался только Третьяковский.

Совершенно справедливо, что академики руководствовались чувством патриотизма, но нужно сказать, что они руководствовались не одним чувством, но и разумом патриотизма. Они осуждали *ученый труд*, не достойный этого имени, они патриотически защищали ученое достоинство Академии наук, которое позорно нарушалось недостойным науки ученым будто бы трудом. Они хорошо, в полной ясности, видели, что обнаружение этой *ученой диссертации* послужило бы *уничтожением для Академии*. Вот в чем заключался их основной невежественный патриотизм и горячий протест, оклеветанный *доносом*. Обвинение их в патриотизме и национализме даже с клеветой явилось в наше время по случаю общего гонения на русский патриотизм со стороны либерального направления нашей интеллигенции, господствовавшего в шестидесятых годах, тогда прославлялся только польский патриотизм!

Чтобы удостовериться в достоинствах *ученой немецкой диссертации*, надо потрудиться прочесть эту пресловутую диссертацию. Впечатление выносится такое, что это в полной мере сплошной бред с историческими и баснословными сведениями, расположенными без всякого сколько-нибудь логического порядка, расположенными, как свойственно именно бреду. Тот отдел сведений, против которого так горячо воевал Шлецер, именно бредни исландских старух, глупые исландские сказки, как он обзывал такие сведения, этот именно

предполагают, что собрание отменено по представлению комиссара Крекшина, которого мнения противны миллеровским относительно происхождения господ русских». Так думал и сам Миллер. «7 сентября. Вы угадали: нет ни одного профессора, который бы верил, что не злосчастная речь г. Миллера была причиной расстройств торжественного собрания. Гг. профессора Струбе, Ломоносов, Третьяковский, Фишер и два адъюнкта Крашенинников и Попов думают, что в состоянии судить о предмете...» «11 сентября. Гг. профессора и адъюнкты трудятся над речью г. Миллера, и вы, м. г., увидите, что мнение каждого из них, поданное особливо, будет весьма различествовать от того, которое он подавал с товарищами, будучи в заседании. Гг. ученые, из опасения ли, из зависти ли, очень редко высказываются о том, о чем их спрашивают. Когда хочешь знать истину о предмете, надобно непременно говорить с каждым отдельно. Так я и сделал». «16 сентября. С самого начала диссертация г. Миллера не имела чести мне понравиться, но я не находил ее столь ошибочной, как описывают гг. профессора и адъюнкты... Любезный мой друг и собрат по невзгодам! Не найдете ли вы удобным предложить его сиятельству приказать лучше на этот раз выбрать предмет из физики по математическому классу и отложить речь г. Миллера до другого времени, потому что невозможно согласить мнения гг. профессоров с авторскими, да если бы и возможно было, то надобно было бы переводить снова...» Предложение Шумахера было принято, и к предстоящему собранию стал готовить речь профессор математики Рихман. «19 октября. Гг. профессора и адъюнкты теперь трудятся над диссертацией г. Миллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестока, так как ни тот, ни другие не захотят отступить от своего мнения. Не знаю, помните ли вы еще, м. г., то, что я имел честь писать к вам о диссертации г. Миллера. Помню, что я утверждал, что она написана с большой ученостью, но с малым благоразумием. Это оправдывается. Г. Байер, который писал о том же предмете в академических комментариях, излагал свои мнения с большим благоразумием, потому что употреблял все возможное старание отыскать для русского народа благородное и блистательное происхождение (по Байеру, варяги-династия были люди *дворянской фамилии* из Скандинавии и Дании); тогда как г. Миллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи (Шумахер чертит ловкую программу, как бы он, польстив народному самолюбию, все-таки провел бы свою мысль. – *Примеч. авт.*), но он (Миллер) хотел умничать. *Nabeat sibi* (*лат.* „пусть себе владеет“, то есть „и на здоровье“. – *Примеч. ред.*) – дорого он заплатит за свое тщеславие!» «30 октября. Профессор Миллер теперь видит, что промахнулся со своей диссертацией, потому что один Попов задал ей шах и мат, указав на столько грубых ошибок, которых он решительно не мог оправдать... Теперь он сказывается больным и не хочет более ходить в конференцию. Место на страницах 18 и 19 диссертации Рихмана приносит более чести академии, чем вся *галлматья* г. Миллера, которой он хочет разрушить все, что другие созидали с таким трудом». См.: *Пекарский П.* Дополнительные известия для биографии Ломоносова. – СПб., 1865. – С. 46–53.

сказочный отдел и занял почти половину содержания диссертации, где Миллер серьезно рассказывает, не только критикуя одну сказку посредством другой, о королях финляндских, пермских, полоцких; о царях голмгардских и острогардских, но и о царях *российских*, приводя самые их имена. Вот они: Траннон, Радборг, Гервит, Бой, Олимар, Енев, Даг, Геррав, Флок, с которыми королями и царями (пользуемся словами самого Шлецера, который, по-видимому, читал диссертацию) «датские и шведские владетели вели кровопролитные войны, заключали договоры о бракосочетаниях еще до Р.Х. и в последующие столетия. Все это глупости, глупые выдумки», – повторяет Шлецер.

Вот почему и Третьяковский вынужден был отметить, что речь исполнена неправости в разуме, а Шумахер, выслушав критиков, прямо назвал ее *галиматьей*. В наше время академик г. Куник скромно назвал ее *препустой*, Шлецер промолчал.

Само собой разумеется, что, если б все это прелюбопытнейшее дело было напечатано, оно объяснило бы вполне, кто в нем прав, кто виноват. Впрочем, благодаря изданным уже материалам²⁸ можно и теперь составить достаточно правильное понятие о ходе этого ученого спора, в основе своей и даже в подробностях несколько не устаревшего и до настоящей минуты.

Надо сказать, что, заслужив похвалу потомства за научную почву, Третьяковский подал мнение довольно уклончивое, говоря, что «сочинитель по своей системе с нарочитой вероятностью доказывает свое мнение...». «Когда я говорю, – писал он, – „с нарочитой вероятностью“, – то разумею, что автор доказывает токмо вероятно, а не достоверно». Затем он представляет, что материя слишком трудна, что и мнение автора, и те мнения, которые он отвергает, все утверждаются только на вероятности и никогда не получают себе математической достоверности. Вообще достоинство новой диссертации он равнял с достоинством предшествовавших ей писаний, не исключая и Синописа и прибавляя, впрочем, что система Миллера кажется вероятнее всех других, дотоле известных; что по этим причинам во всем авторском доказательстве он не видит ничего предосудительного для России. «Разве токмо сие одно может быть, как мне кажется, предосудительно, – говорил он, – что в России, о России, по-российски, перед россиянами, говорить будет чужестранный и научит их так, как будто они ничего того поныне не знали; но о сем рассуждать не мое дело».

Одобрив диссертацию к выпуску в свет, Третьяковский, во всяком случае, предлагал ее исправить, иное отменить, иное умягчить, иное выцветить, причем ссылаясь, что об этих отменах, исправлениях, умягчениях довольно предлагали автору все разбиравшие диссертацию. Стало быть, и он с научной почвы показывал, что диссертация была неудобна во многих отношениях. Он только не обозначил явно, в чем заключалось это неудобство; но в заключение все-таки сказал, что отнюдь спорить не будет с мнением и рассуждением об этом предмете искуснейших и остроумнейших людей (своих товарищей) и что, напротив того, признает их мнение «как основательнейшее *может быть* лучшим». Как профессор красноречия, Третьяковский составлял свою речь очень хитро, и поэтому вовсе не известно, куда прямо относится это *может быть* и что прямо хотел сказать красноречивый профессор. Ясно одно, что он был согласен со своими товарищами, знавшими предмет лучше и обладавшими большим искусством в споре. По всему видно, что его уклончивость происходила, собственно, от недостатка учености, от малого знакомства с источниками и литературой предмета, что вполне раскрывается в поданной им записке. И тем не менее это уклончивое мнение Третьяковского заслужило похвалу, что будто бы «по своему беспристрастию оно представляет отрадное исключение»²⁹. Такая похвала бросает сильную тень на его товари-

²⁸ Пекарский П. История Имперской Академии наук. – СПб., 1870–1873. – Т. I; Билярский П. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865.

²⁹ Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865. – С. 758, 768.

щей. Стало быть, мнения других русских ученых о диссертации *Миллера* были пристрастны, не отрадны по своему нравственному качеству? Однако тот же Третьяковский в своем особом рассуждении о варягах-руссах, написанном гораздо позже, касаясь достоинства Миллеровой речи, пишет между прочим, что «напечатанная, она в дело не произведена: ибо освидетельствованная всеми членами академическими, нашлась, что *как исполнена неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге*».

И никто другой, как именно Третьяковский, сводит этот ученый спор прямо на почву патриотических воззрений. В упомянутом своем рассуждении о варягах-руссах в самом начале он жалуется, что происхождение этих варягов приведено под немалое сомнение в наших мыслях, так что поныне (в 1757 г.) еще нет довольного удостоверения, из какого народа были сии варяги; что виной тому чужестранные писатели, которые, производя варягов от инородных нам племен, вводят нас в это сомнительное безызвестие о названии, роде и языке варягов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.